

принести человечеству заветную свободу» (Розенталь Э. Знаки и возглавья). При этом следование велениям высшего Разума не противоречит стремлению к обретению Бога. В данном случае Волошин не опирается на канонические заповеди:

Единственная заповедь: «ГОРИ!»  
Твой Бог в тебе,  
И не ищи другого  
Ни в небесах, ни на земле...

(«Бунтовщик»)

Сходные мысли высказывает и преподобный Иоанн Лествичник: «Душа, соединившаяся с Богом, для научения своего не имеет нужды в слове других; ибо блаженная сия в себе самой носит присносущное Слово, Которое есть тайно-водитель, наставник и просвещение». И в другом месте: «Кто сподобился быть в сем устроении, тот ещё во плоти имеет живущего в себе Самого Бога, Который руководит его во всех словах, делах и помышлениях».

Наступает следующая стадия мятежа, считает поэт. Мятежа против затверделых истин и «кольцевых нагромождений... систем». Сжатый этими «обожжёнными кирпичами» косных идей дух становится «междупланетной ракетой», черпающей топливо в самой себе («взрываясь из себя»), устремляющейся «Сквозь зыбкие обманы небесных обликов», «Созвездий правящих и волящих планет» к обретению внутреннего Грааля, к «идеалу Града Божия» или «Горнего Иерусалима», как обозначил эту цель синайский старец, то есть – совершенного мира души, которой ты « зришь Христа» и «злостраждешь с Ним».

Себя самого поэт видит в образе библейского Иова, государство сравнивает с враждебным Богу чудовищным Левиафаном («Левиафан»), лишённым сознания и ощущающим лишь голод (здесь чувствуется влияние Т. Гоббса, также уподобляющего государство Левиафану). Стать ли человеку «слизью жил» этого и ему подобных тварей или одолеть чудовище – зависит от него самого. Последнее произойдёт, лишь «когда любовь растопит мир земной», – говорит Господь Иову.

Только «личное моральное осознание» всего происходящего может противостоять войне и распаду, считает поэт.

Ведь каждый добровольно принял на себя свою жизнь и на Страшном суде даст свой личный ответ, «который будет иметь в себе значение космическое». Не случайно апокалиптическим образом суда, видением «внутри себя» «солнца в зверином круге» («Суд») завершается книга М. Волошина «Путями Каина».

## БЛАГОСЛОВИ СВОЙ СИНИЙ ОКОЁМ...

Всё, с чем жил, к чему ни прикасался:  
Вещи, книги, сручья и одежды,  
И земля, где он ступал, и воды,  
Из земли текущие, и воздух, –  
Было всё пронизано любовью  
Серафимовой до самых недр.  
Всё осталось родником целящей,  
Очищающей и чудотворной силы.  
«Тутошний я... тутошний...» Из вьюги,  
Из лесов, из родников, из ветра  
Шепчет старческий любовный голос.  
Серафим и мёртвый не покинул  
Этих мест, проплавленных молитвой,

И, великое имея дерзновение  
Перед Господом, заступником остался  
За святую Русь, за грешную Россию.

### Святой Серафим

20 февраля 1924 года Максимилиан Александрович и Мария Степановна уезжают из Коктебеля. Им предстоит посетить Москву и Петроград, где Волошин не был пять лет; ему любопытно вновь ощутить круговерть столичной жизни. За домом согласились приглядывать И. В. Зелинский и А. А. Вьюгова, вдова профессора-статистика, получившая прозвище «старушка Божий дар».

В Москве коктебельцы остановились у своего летнего гостя, начальника Ярославского вокзала, инженера Ф. П. Кравца, квартира которого находилась в вокзальном здании. Приезжих сразу же ошеломили московская толчея, шум, соединение красоты и уродства. Сияют купола храмов, и осыпается штукатурка с домов, в которых шестой год не работает центральное отопление. Сама Москва, как показалось Марии Степановне, «стала грязней, тесней и безобразней, благодаря непристойным вывескам и грязным тряпкам. Большинство людей низведено до степени угловых жильцов и потому всё время попадаешь в какие-то человеческие гноища. Одеты и лоснятся израильтяне, а наш брат тускл и потёрт».

Да, Москва – средоточие контрастов. Разруха и роскошь;

Болотный рынок и товарная биржа, описание которой попало даже на страницы журнала «Огонёк» (апрель 1923): «С раннего утра, ещё задолго до открытия фондового отдела, у дверей биржи – Ильинка, 6 – стоит разношёрстная толпа. Котелки и бобровые шапки. Демисезонки и енотовые шубы. Воздух разрывается голосами, то крикливыми, резко взвинченными, то уверенными, бархатно-густыми... Гудит товарная биржа, этот человеческий улей, который ворочает огромными количествами товаров, перебрасывает их из одного конца республики в другой. Лица напряжённые. Каждая минута сосчитана. Опоздал, не согласился, и, смотри, через десять минут товар уже продан и биржевой маклер уже выписывает квитанцию»...

Однако Макс, разумеется, приехал сюда не за этим. Надо показаться врачам, встретиться с друзьями, напомнить о себе поэтическими вечерами. Он обращается к своему старому знакомому, профессору Д. Д. Плетнёву, который устраивает для него консультации у лучших специалистов. Выясняется, что поэту требуется соответствующий режим с соблюдением строгой диеты, но как осуществить всё это в бурлящей и кипящей жизнью Москве... Лечение придётся отложить до возвращения в Коктебель. Затем началась бесконечная череда встреч, «стихонеистовства», знакомств и бесед. Макс, вспоминает Тамара Шмелёва, и тогда, уже не молодой и не очень здоровый, как магнит притягивал к себе всех. Завязывались и отношения деловые, которые, впрочем, Макс не всегда продолжал. Однажды в редакции сборника «Недра» ему «предложили написать краеведческую статью о Восточном Крыме и Карадаге, обещая хороший гонорар. Денег у него, как обычно, было очень мало, но, узнав, как и о чём надо писать, он отказался». Очевидно, и здесь не обходилось без идеологии...

Молодой поэт Лев Горнунг пригласил Волошина выступить на заседании поэтического кружка «Кифара». От этого предложения поэт, разумеется, отказаться не мог. Но предварительно он побывал у Льва Владимировича дома и дал небольшой концерт, так сказать, в кругу друзей. Волошин, вспоминает Горнунг, «читал стихи густым низким голосом, мерно охватывая каждую строчку и делая ударение на последних словах. Это были стихи „Благословенье“, „Космос“, „Петербургский период русской истории“ (поэма „Россия“. – С. П.) и некоторые стихи из цикла о терроре». Читал он стихи и на квартире сотрудника издательства «Недра», поэта П. Н. Зайцева, где среди приглашённых был Борис Пастернак. На этот раз звучали «Благословенье», «Дикое поле», «На вокзале», «Северовосток», «Петербург», «Космос» и кое-что из книги «Путиами Каина». Выступил поэт

также в Доме учёных на Пречистенке и в Союзе писателей.

Наконец, 26 марта состоялось заседание «Кифары» на квартире артистки Н. Н. Соколовой в Большом Козихинском переулке. Здесь Волошин делился своими воспоминаниями об Иннокентии Анненском. Рассказывал о своей знаменитой ссоре с Николаем Гумилёвым в мастерской художника Головина, после чего до полуночи читал свои стихи.

Позже, уже перед отъездом Волошина в Северную столицу, к нему зашли попрощаться Л. В. Горнунг и литератор А. А. Альвинг, разговорились о женской поэзии. Волошин заметил, «что у нас сейчас три лучших поэтессы – Ахматова, Парнок и Цветаева. Каждая хороша по-своему. У Парнок очень уж развита внутренняя сторона стиха и закончена форма каждого стихотворения. Можно взять каждое, как вещь, в руки. Ахматова умеет так сказать, как никто не скажет. Цветаева же берёт своей, правда грубой, неожиданностью, бесшабашностью, так что кажется: в данную минуту ничего другого не надо». Как вспоминает Горнунг, говорили они и о других поэтах.

На вопрос, как Волошин относится к Мандельштаму, Максимилиан Александрович ответил, «что очень положительно как к поэту, но избегает встречаться с Осипом Эмильевичем... Мандельштам создал школу не только в поэзии, но и в образе жизни». Рассказывал Максимилиан Александрович о своём визите к Брюсову, который «нежно укорял, что Волошин пришёл к нему не сразу, позвал племянника, мальчика лет семи: „Коля, поди сюда!“ И, когда тот пришёл, сказал о Волошине: „Посмотри ему в лицо подольше. Запомни, ты видишь сегодня поэта Максимилиана Волошина». Затем его выставил.

Брюсов просил Волошина прочесть новые стихи... Затем показал, что он сам пишет, и прочёл несколько эротических стихотворений, совершенно далёких от современности. Перед этим просил выйти из комнаты жену... сказав, что будет читать Волошину очень неприличное стихотворение. Та махнула рукой и сказала: «Ах, надоело мне всё это, как будто уж я не привыкла к этому», – и вышла... Волошин считает, что поэзия Брюсова держалась на конкуренции. «Пока он ставил выше себя Бальмонта и Белого и пока силился их обогнать – он писал хорошо. Когда же он обогнал их, то сразу связался с какими-то плохими поэтами и писать стал хуже».

В Москве круг общения Волошина, как всегда, был неизмеримо широк. Е. А. Бальмонт, А. Белый, Д. Благой, Л. Гроссман, К. Кандауров и Ю. Оболенская, М. Кудашева, В. Мейерхольд, С. Парнок, А. Пешковский, сёстры Эфрон... Разве всех перечислишь?... Среди новых знакомых поэта можно назвать искусствоведа А. Г. Габричевского, с которым Макс проведёт немало весёлых минут в Коктебеле, реставратора А. И. Анисимова, редактора «Красной нови» А. К. Воронского, президента Государственной академии художественных наук П. С. Когана, художника В. А. Фаворского, философа Г. Г. Шпета... 19 марта Волошин был принят Луначарским в Комиссариате просвещения на Сретенке. Можно предположить, что речь шла о создании художественной колонии на базе Дома Поэта в Коктебеле, поскольку 31 марта нарком выписал – от имени Наркомпроса РСФСР – бумагу, в которой «учреждение» Волошина одобрялось и предписывалось оказывать ему всяческое содействие... Да, много произошло в ту весну интересных встреч, но одна из них стоит особняком.

2 апреля Волошин был в Кремле и читал свои стихи Льву Борисовичу Каменеву и его супруге Ольге Давидовне. Организовал это мероприятие, по всей видимости, П. С. Коган, который вместе с Л. Л. Сабанеевым (председателем Совета музыкально-научного института) и препроводил поэта к партийному зубру. Вспоминает Сабанеев: «Я, Пётр Семёнович Коган и бородатый огромный Максимилиан Волошин... шествуем втроём в Кремль на свидание с Каменевым. Волошин хочет прочесть Каменеву свои „контрреволюционные“ стихи и получить от него разрешение на их опубликование „на правах рукописи“. Я и Коган изображали в этом шествии Государственную Академию художественных наук, поддерживающую это ходатайство. Проходили все этапы, неминуемые для посетителей Кремля. Мрачные стражи деловито накатывают на штыки наши пропуска. Хозяева

встречают нас очень радушно... Волошин мешковато представляется Каменеву и сразу приступает к чтению „контрреволюционных“ стихов...

Каменев внимательно слушал... Грозовым, пророческим голосом... читает Волошин, напоминая пророка Илью, обличающего жрецов... Ольга Давидовна нервно играет лорнеткой... Коган и я с нетерпением ждём, чем это кончится. Волошин кончил. Впечатление оказалось превосходным. Лев Борисович – большой любитель поэзии и знаток литературы. Он хвалит, с аллюром заправского литературного критика, разные детали стиха и выражений. О контрреволюционном содержании ни слова, как будто его и вовсе нет. И потом идёт к письменному столу и пишет в Госиздат записку о том же, всецело поддерживая просьбу Волошина об издании стихов „на правах рукописи“.

Волошин счастлив и, распростившись, уходит. Я и Коган остаёмся. Лев Борисович подходит к телефону, вызывает Госиздат и, не стесняясь нашим присутствием: „К вам придёт Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения...“» Что ж, представителям партийного руководства страны не привыкать было ходить «путями Каина». В архиве поэта сохранился черновик его письма Каменеву (ноябрь 1924), в котором он просит «оказать содействие делу Художественной колонии», организованной им в Коктебеле. Думается, нет смысла продолжать эту тему...

Гораздо приятнее отметить, что в те же дни, в марте 1924 года, в жизни Волошина или, как сказал бы он сам, в «истории его души» произошло важное событие. Известный искусствовед и реставратор, знаток русской иконописи Александр Иванович Анисимов пригласил его в Исторический музей посмотреть недавно приобретённые иконы. Среди них была отреставрированная икона Владимирской Богоматери. Поэту дали кресло, и он в одиночестве просидел перед Ликом несколько часов. На следующий день свидание с Богоматерью повторилось. Потом ещё несколько раз. Позже, в марте 1929 года, родится стихотворение «Владимирская Богоматерь»:

... Не погром ли ведая Батыев –  
Степь в огне и разоренье сёл –  
Ты, покинув обречённый Киев,  
Унесла великокняжий стол?  
И ушла с Андреем в Боголюбов,  
В прель и глушь Владимирских лесов,  
В тесный мир сухих сосновых срубов,  
Под намёт шатровых куполов.  
И когда Хромец Железный<sup>14</sup> предал  
Окский край мечу и разорил,  
Кто в Москву ему прохода не дал  
И на Русь дороги заступил?..

Икона Владимирской Богоматери «явила» Волошину «Светлый Лик Премудрости-Софии», воспринимаемый им как «Лик самой России» (по Соловьёву, «ангел-хранитель земли»). Для поэта это шедевр иконописи, высшее «из всех высоких откровений, явленных искусством». И в то же время это спасительный образ, «над Русью вознесённый», хранящий её в трагические моменты истории, указующий «выход потаённый» сквозь «тьму веков», «в часы народных бед»:

И Владимирская Богоматерь  
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,  
На порогах киевских ладьям

---

<sup>14</sup> Прозвание Тимура (Гамерлана). – Ред.

## Указуя правильный фарватер...

И, наконец, это «слепительное чудо» Истины, откровение «вечной красоты» христианства, даровавшее поэту «власть дерзать и мочь».

6 апреля наши путешественники прибывают в Петроград и сразу же попадают в водоворот встреч и впечатлений. А. Бенуа, Ю. Галабутский, А. Головин, Н. Евреинов, Е. Васильева (Дмитриева), Кедровы, Ю. Львова, Е. Лансере, Ф. Сологуб и А. Чеботаревская, Г. Чулков, М. Шагинян... Происходит знакомство с А. Ахматовой и Э. Голлербахом, который записал свои впечатления от встречи с художником: «Впервые я увидел Волошина... на площади Островского, около Публичной библиотеки. Он шёл под руку с женой по направлению к Невскому, по-видимому, только что побывав у Е. С. Кругликовой, живущей против Александринского театра. Я узнал его по фотографиям и по рисунку Головина. Надо ли говорить, как необычайна была его фигура на фоне Петербурга? В ней не было, прежде всего, ничего „петербургского“: ни в поступи, чуть грузной, но твёрдой и решительной, ни в многоволосье низкопосаженной, короткошейей головы, ни в костюме (короткие штаны и чулки)». Эриху Фёдоровичу как искусствоведу, привыкшему иметь дело с художественными формами, запомнился прежде всего склад волошинской фигуры – «очень дородной, плечистой, животастой, с короткими руками и ногами», голова – «с пепельной шапкой кудрей, с округлой рыжевато-седой бородой, торчащей почти горизонтально над мощной, широкой грудью. Волошина не раз сравнивали то с Зевсом-олимпийцем, то с русским кучером-лихачом, то с протопопом; сравнивали с Гераклом и со львом. Всё это, в общем, верно, но в частности – не точно. Этот „Геракл“ не мог бы разорвать пасть льву, потому что лев был в нём самом... Этот кучер не сел бы на облучок тройки, потому что помнил триумфальное величие античных колесниц. Он не принял бы сан иерея, потому что знавал когда-то глубокие тайны элевсинских мистерий.

Казалось бы, из этой фигуры легко сделать гротеск – так много в ней отступления от „нормы“, – но неизвестно, кого же, собственно, пародировать – московского купчика или евангельского апостола? К тому же чувство достоинства, спокойствие, сановитость, которыми дышала эта фигура, отбивали охоту к шаржу».

Волошины поселились в самом центре, на Невском, у старого знакомого Марии Степановны, Карла Ивановича Бернгардта, бывшего владельца музыкального магазина. Ночевать пришлось в комнате, где стояло несколько красивых чёрных роялей. По свидетельству жены, поэт «долго не ложился спать, сидел в кресле перед окном, смотрел на Невский.

– Макс, отчего ты не ложишься? Ведь поздно.

– Я не могу, Маруся, здесь лечь спать. Я не могу раздеваться при них... Ты представь себе: они стояли в концертных залах, за ними сидели прекрасно одетые люди, они так прекрасно и благородно звучали. Посмотри, какие они строгие и нарядные».

Так и просидел всю ночь, так и не лёг. А хозяевам на другой день пришлось подыскивать для Волошина другую комнату. По мнению Марии Степановны, это «не было оригинальничаньем. Макс был слишком искренний и большой, чтобы дешёво оригинальничать. Живое и моральное отношение к вещам кажется многим удивительным... Макс с его огромными моральными требованиями к себе, с его удивительно ясным сознанием поэта, ощущал мир в многообразии различных форм сознания».

Именно здесь, в этой «музыкальной» квартире, и произошло знакомство Волошина с Голлербахом. Молодой искусствовед и библиограф был буквально очарован поэтом: «...неторопливые, негромкие, мягкие слова (без всяких лишних вставок и добавок, часто засоряющих нашу разговорную речь) проникали в сознание, словно строчки стихов, набранных чётким и округлым старинным шрифтом, и запоминались легко, как хорошо сделанные стихи.

Сразу приковывали к себе глаза – зеленоватые, внимательные, почти строгие глаза, глядевшие собеседнику прямо в зрачки, но без всякой въедливости и назойливости, спокойно

и вдумчиво. Отчётливы и приятны были в этом лице очертания рта – изысканная линия губ: такие губы не могут произнести никакой банальности, пошлости. Подстриженная щётка усов, правильность, изящество, я бы сказал, „духовность“ этого рта. Впечатление духовности волошинского „лика“ не умаялось полнотою, даже некоторой одутловатостью лица, массивностью всей головы, грубоватостью её моделировки и плотностью смугло-розовой лоснящейся кожи. В этом волосатом лице, с бородой, растущей чуть ли не от самых глаз, явственны были черты благородства и нежности... Если угодно, он был аристократичен даже в самом внешнем, светском смысле слова: его приветливость, его умение вести разговор – умение не только „изрекать“, но и слушать, вся его манера себя держать – обличали в нём прекрасно воспитанного человека...

В лице Волошина была монументальная неподвижность: подвижен был только рот, только губы, но не брови, не морщины. В бровях, немножко приподнятых над переносицей, был оттенок чего-то трагического. Вообще, при всей рыхлости лица и мягкотелости фигуры, от Волошина веяло сдержанной затаённой силой, скорее германским волевым началом, самодисциплиной, чем русской „душой нараспашку“, с её добродушием и амикошонством. Чувствовалось, что этот человек духовно щедр, что он может очень много дать, если захочет, но что знает он гораздо больше, чем высказывает, и „быть“ для него важнее, чем „казаться“.

Вторая встреча поэта и искусствоведа состоялась в Ленгизе, где последний заведовал художественным отделом. Волошин с любопытством просмотрел работы современных графиков, познакомился с директором издательства И. И. Ионовым, от которого получил для Коктебеля несколько десятков выпущенных здесь книг. Голлербах обратил внимание на то, что Волошин говорил с директором «без малейшего заискивания, но и без всякой развязности».

Автор воспоминаний, как и многие другие мемуаристы, обращает внимание на волошинскую манеру чтения стихов, которая представляла собой настоящее искусство звучащего слова. «Читал Волошин свои стихи прекрасно – без актёрской декламации и без профессионально-поэтического завывания. Он тонко подчёркивал ритм стиха, полностью раскрывал его фонетику, вовремя выдвигал лирические и патетические оттенки. Читал он стоя, держась руками за спинку стула, иногда кладя на спинку только одну руку, а другой сдержанно жестикулируя. Вообще его жестикуляция была скупа, он иногда немного подымал руку – точнее, подымал полусогнутую короткопалую, пухлую кисть руки – большим пальцем кверху, словно желая этим движением поднять смысл и значение того или другого образа, метафоры, эпитета... Его чтение можно было слушать долго, не утомляясь: дикция его была отчётлива, модуляции голоса мягки. Читая, он слегка задыхался, и эта лёгкая одышка казалась каким-то необходимым аккомпанементом к его стихам – чем-то похожим на шелест крыльев... Когда он улыбался, глаза его оставались совершенно серьёзными и становились даже более внимательными и пристальными... Смеха его я не помню, не слышал».

Надо сказать, что поэзией «киммерийского отшельника» восторгались далеко не все. А. Бенуа, например, ценил у Макса преимущественно живопись. Скептически относился к творчеству поэта и художник К. Сомов. На собрании «Серапионовых братьев» с резкой критикой волошинских стихов выступил только-только вошедший в литературу В. Каверин. И всё же многие воспринимали Волошина уже почти как классика. В тот приезд его образ увековечили художники Г. Верейский, Б. Кустодиев, Е. Кругликова, А. Остроумова-Лебедева, известный фотограф М. Наппельбаум...

Ну а весна тем временем потихонечку перетекала в лето, которое, как всегда, сулило быть интересным. Тем более что в Дом Поэта обещали нагреться никогда раньше не посещавшие его В. Брюсов и А. Белый, а также поэт и переводчик С. Шервинский, теоретик литературы Л. Гроссман, поэтесса А. Адалис и уже бывалые: С. Толстая, супруги Шкапские, Т. Шмелёва, О. Головина, Марусины (а теперь уже и Максины) друзья, Домрачёвы. Особый колорит в жизнь этих «скромняг» должны были внести «профессиональные обормоты»: Вера Эфрон, Мария Гехтман и Константин Кандауров... В «Киммерийских Афинах» нельзя было

обойтись без сословий. Афины-то всё-таки античные, хоть и «Киммерийские». Стало быть, не взыщите: если вы одинокие женщины – так вы «нимфы», а ваша комната будет называться «геникеем»; а одинокие (если бывают?) мужчины, извольте проживать в «мужикее». Как вспоминает Т. Шмелёва, питание в доме «было организованным. Воду для приготовления пищи привозили в бочке из источника Кадык-Кой. За очень небольшую плату можно было получить завтрак, обед и ужин. Когда бывало много народу, за стол садились в две смены. Всё происходило на длинной веранде внизу». Сразу после ужина все отправлялись на вышку слушать стихи и «страшные рассказы» Андрея Белого. Как же в этом доме без стихов, без розыгрышей, без мистики?.. Впрочем, мистика, оказывается, бывает естественной. «В нижней мастерской, у входной двери, висел рукомойник, а напротив, под лестницей, находился глубокий внутренний шкаф, в котором хранилась одежда Макса и какие-то вещи.

Вся освещённая луной, в длинном белом одеянии, я (т. е. Т. В. Шмелёва. – С. Я.) стояла около умывальника, когда над головой послышались чьи-то торопливые шаги. Коля Чуковский (сын К. И. Чуковского. – С. Я.) вёл кого-то под руку. Увидев меня, оба вскрикнули, бросились к двери и стали толкать её... (Дверь открывалась вовнутрь. – С. Я.) Испугавшись, я скользнула в шкаф. И тут надо мной загрохотала вся лестница. С вышки бежали на призыв о помощи. Дверь открыли и все устремились вниз. Ничего не понимая, я ещё долго сидела в шкафу». Потом выяснилось, что приятель Н. Чуковского перенёс не так давно нервное потрясение, а тут ещё луна, девушка в белом одеянии да накануне – рассказы Андрея Белого... Тут закричишь! А Волошин всю ночь гонялся со своими гостями за фантомами. Выслушав рассказ племянницы, он вначале рассердился (всё так обыденно), а потом вдохновился: «Моё сообщение очень рассмешило Макса. Он решил на следующее утро представить меня как вчерашнее привидение. Приятель же Коли отнёсся к словам Макса с недоверием и даже обиделся, считая, что его разыгрывают. Вскоре он уехал. Я так и не узнала его имени».

А вот как запомнилось это время самому Андрею Белому: «...летом в 24 году я встретил в доме Волошина единственное в своём роде сочетание людей: Богаевский, Сибор, художница Остроумова, поэтессы Е. Полонская, М. Шкапская, Адалис, Николаева, стиховед Шенгели, критики Н. С. Ангарский, Л. П. Гроссман, писатель А. Соболев, поэты Ланн, Шервинский, В. Я. Брюсов, профессора Габричевский, С. В. Лебедев, Саркизов-Серазини, молодые учёные биологической станции, декламатор А. Шварц, артисты МХАТа 2-го, театра Таирова, балерины – или жили здесь, или являлись сюда, притягиваемые атмосферой быта, созданного Волошиным. Игры, искристые импровизации Шервинского, литературные вечера, литературные беседы то в мастерской Волошина, то на высокой башне под звёздами, поездки в окрестности, поездки на море и т. д. – всё это, инспирируемое хозяином, оставляло яркий, незабываемый след. Деятели культуры являлись сюда москвичами, ленинградцами, харьковцами, а уезжали патриотами Коктебеля. Сколько новых связей завязывалось здесь. В центре этого орнамента из людей и их интересов видится мне приветливая фигура Орфея – М. А. Волошина, способного одушевить и камни, его уже седеющая пышная шевелюра, стянутая цветной повязкой, с посохом в руке, в своеобразном одеянии, являющем смесь Греции со славянством. Он был вдохновителем мудрого отдыха, обогащающего и творчество, и познание. Здесь поэт Волошин, художник Волошин являлся людям и как краевед, и как жизненный мудрец».

Мудрость мудростью, но летом «творческие» дурачества выходили всё же на первый план. Крым... превращается в Испанию с её корридой. Мужчины – в широкополых шляпах; кто-то, вооруженный табуретом, изображает быка. Брюсов, недавний вожак символистов и горный небожитель, по своему обыкновению командует: «Плащ надо держать так! Бык кидается отсюда! Его надо встретить вот таким образом!» Волошин, философски не уважающий корриду, всё же вмешивается: «Нет, Валерий Яковлевич, вот так, пожалуй, туда его!» Андрей Белый, самый из всех «европеец», организовывает «джаз-банд» и на гребёночке, на гребёночке... впрочем, идут в ход и пустые кастрюли, ложки, бутылки...

Весело, но как при этом не вспомнить о берлинских плясках, безумных выворачиваниях души этого волею судьбы оказавшегося там писателя.

Случались корриды и не сценические. Как-то Георгий Шенгели прочёл своё неопубликованное стихотворение на смерть Гумилёва, из которого следовало, что приговор поэту подписывали «накокаиненные бляди», которым светил «вершковый лоб Максима». Белый взвинтился:

– А позвольте спросить: чей лоб вы имеете в виду?!

– Лоб Максима Горького.

– Как?! В твоём доме, Макс, так говорят о русском писателе?! Нет, я этого допустить не могу!

– Но вы можете жить в обществе, где писателей расстреливают! – кричит Шенгели.

Андрей Белый кубарем скатывается с вышки и несётся в свою комнату:

– Я здесь больше ни минуты не останусь!

Опекающая «детей» Мария Степановна – за ним. Поэт швыряет в чемодан одежду, рукописи, книги... Она что-то ему говорит, и тот через пару минут остывает...

Авторитет Белого конечно же признавали все, но на вечерних поэтических посиделках ему всё же не раз доставалось. Молоденькая студентка Надя Рыкова (в будущем – литературовед и переводчица), поддерживаемая подругами-одногодка-ми, вмешалась в завязавшийся спор о культурах Востока и Запада. Воображая себя истинной «западницей», она со всем студенческим максимализмом накинулась на прожжённого «европейца» Белого, заподозренного ею в приверженности Востоку. Девушка пылко вступилась за «металлическую и каменную культуру против деревянной, за сушь против сырости, за отмериванье и ограничение против безмерностей и безграничностей, за относительность против абсолютности и т. д. и т. п... Крик стоял ужасный». Андрей Белый вышел из себя, стал отчитывать «девчонок» за их «нахальство». Те огрызались: «У! Аргументы от возраста! Последнее дело! Позор!»

Профессор Александр Александрович Байков, химик и металлург, мало что смысливший в предмете спора поддерживал «девчонок», подливая масла в огонь: «Правильно... куда там наши деревянные церквушки против ихних соборов, едешь-едешь – сотни вёрст одни болота да избы, какая уж тут культура!» Белый, которому так и не дали высказаться, бесился, а Волошин по своему обыкновению лил елей на обе стороны и вскоре утихомирил спорщиков. Максимилиан Александрович казался Наде настоящим хозяином Коктебеля... в том смысле, в каком домовый – хозяин дома, а леший – хозяин леса. Она вспоминает об одной прогулке на Карадаг, в которой принимали участие и «верхи», и «низы». Стояла дикая жара, потом разразилась гроза; все попрятались кто куда мог. Надежда с какими-то случайными спутниками оказалась в шалаше болгарского виноградаря. Вскоре прояснилось, терпко запахла полынь, и в этот самый момент «перед нами возник (именно возник) Максимилиан Волошин. Он, как заботливый пастух, пошёл собирать разбредшееся стадо своих гостей, заглядывал в шалаши, под кусты. Заглянул и к нам. Я увидела снизу вверх его волосатую голую руку с длинной жердью-чаталом, обнажённый торс, мифологическую голову на только что вымытом, ещё облачном и уже голубом небе». И в очередной раз подумалось: вот он, гений места, домовый, леший, великий Пан Коктебеля...

Возможно, об этом же происшествии пишет в своих воспоминаниях художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева, которая пережила более драматический эпизод: «Очень запомнилась мне прогулка, затеянная Волошиным, – через Северный перевал пройти на Карадагскую биологическую станцию. Отойдя версты на три и поднявшись на крутые глинистые холмы, мы были неожиданно застигнуты грозой... Небо обрушилось потоками воды... Среди грохота камней и падающей воды Максимилиан Александрович усиленно кричал нам, чтоб мы спрятались в пастуший шалаш. Через несколько минут мы вместе с шалашом и пластом земли поплыли вниз по скату холма.

Незаметные ручьи на глазах превратились в бурные реки. В их пенистых, стремительно мчавшихся водах вертелись камни, оторванные комья глины и дёрна. Всё это мчалось к



море. Картина была грандиозная. Библейский пейзаж бушующей стихии... Волошин не потерял присутствия духа. Просил всех переждать натиск воды. Организовал переправу через воду цепью, и, таким образом, никто не пострадал... Помню то чувство необыкновенной бодрости и подъёма, когда мы вернулись домой по уши мокрые, в глине и песке».

В спокойное время любовались со стороны моря на скалы Карадага, Львиные ворота, Разбойничью бухту. Волошин, вспоминает художница, «с глубокой любовью рассказывал истории и предания каждой бухточки, объяснял строение скал, их геологическое происхождение... Затем он читал стихи. Валерий Брюсов слушал, смотрел, очарованный. Иногда и он начинал декламировать по-латыни отрывки из „Энеиды“». Анна Петровна писала его портрет, который, к сожалению, уничтожила. А ведь это был бы последний портрет поэта...

Волошинский Коктебель... Валерий Яковлевич Брюсов вспоминал его незадолго до смерти: «Я думаю, что в настоящую минуту Коктебель является единственным литературным центром в России... В Москве... я могу перевидать столько людей в разных местах в течение недели, месяца, могу собрать у себя раз в год на именины своих друзей, но иметь постоянно вокруг себя такой круг и вести настолько интересные и содержательные беседы я не имею возможности». Не прощаться ли, не очиститься ли приезжал в Коктебель Брюсов? Судите сами: «Дни, проведённые мною впервые в Коктебеле, проводят новую чёткую черту в моей жизни». Правда, жизни-то уже вышли сроки...

А в жизни Волошина подошли иные сроки, связанные с юбилейными датами. Ю. Галабутский напомнил Максиму, что ровно 30 лет назад в печати появилось его первое стихотворение, посвящённое памяти В. К. Виноградова. А 25 лет назад в «Русской мысли» была опубликована его первая критическая статья. Получался двойной юбилей. А чем его отметить, что он может сегодня представить на суд литературной общественности?.. Едва ли власти дадут добро на издание его книжки. Поэтому радоваться-то нечему. «Вначале я это пытался утаить и просил о том же друзей, о сём осведомлённых, – пишет Волошин Габричевским 23 марта 1925 года. – Но это оказалось невозможным, и в Крыму организуется нечто вроде Юбилейного Комитета. Так что скрывать это не имеет смысла. Хотя очень глупо праздновать „Юбилей литературной деятельности“, которая за 30 лет исчерпывается небольшой книжкой стихов, а всё остальное остаётся запечатанным ещё на много лет. Но и отказываться нельзя. Надеюсь, что мне будет высказано достаточно неприятных вещей, чтобы не вызвать новой печатной травли, которая меня постигает всегда после каких бы то ни было лестных отзывов обо мне.

Дата позорища ещё не зафиксирована, но я настаиваю на том, чтобы оно было перенесено на конец мая, когда в Коктебель уже съедутся ближайшие друзья (как я надеюсь)... У меня есть задняя мысль, что кто-нибудь из друзей догадается просуфлировать Центральному Правительству необходимость в этот день утвердить публично постановление КрымЦИКа о закреплении за мной моей дачи, снять с неё местные и курортные налоги и, наконец, выдать мне мандат на устройство (существующей) Художественной Колонии. Иными словами, публичным государственным актом освятить ныне существующее положение вещей. Тогда это оправдает все неприятные и стыдные моменты публичного чествования».

С начала мая Волошин начинает получать поздравления от частных лиц: Викентия Вересаева, Валентина Кривича, Всеволода Рождественского, лётчика-планериста Жардинье... Ждали официальную телеграмму от Енукидзе, но где там... Не вышло и с публикацией юбилейных статей. Лишь на шестой странице «Известия» оповестили, что «31 мая исполняется 30-летний юбилей известного (уже неплохо. – С. Я.) поэта Максимилиана Волошина. Общество изучения Крыма выбрало М. Волошина своим почётным членом. В настоящее время юбиляр проживает в Коктебеле (близ Феодосии)». Хорошо, что пока ещё – «проживает». Хулигельных опровержений не последовало. Вот такая помпа!..

Сроки-сроки... Уходят в небытие М. Гершензон, А. Чеботаревская, Р. Штейнер...

Рудольфу Штейнеру, в «людном безлюдии», в июле 1914 года, посвящались эти стихи:

Снова  
Мы встретились в безлюдьи. И как прежде.  
Черт твоего лица  
Различить не могу. Не осужденье,  
Но пониманье В твоих глазах.  
Твоё уединенье меня пугает.  
Твоё молчанье говорит во мне:  
Ты никогда ни слова  
Мне не сказал, но все мои вопросы  
В присутствии твоём  
Преображались  
В ответы...

Но жизнь идёт. Снова лето, и снова гости: Габричевские, Леонид Леонов, Эрих Голлербах. Молодой искусствовед, как и год назад, был под обаянием Максимилиана Александровича, тонко понимал его: «В 1925 году, наблюдая Волошина в Коктебеле, я убедился в его соприродной связи, полной слиянности с пейзажем Киммерии, с её стилем. Если в городской обстановке он казался каким-то „исключением из правил“, „беззаконною кометой в кругу расчисленных светил“, почти „монстром“, то здесь он казался владыкой Коктебеля, не только хозяином своего дома, но державным владельцем всей этой страны, и даже больше, чем владельцем: её творцом, Демиургом, и, с тем вместе, верховным жрецом созданного им храма.

В чисто житейском плане он был обаятелен, как радушный, гостеприимный хозяин, со всеми одинаково корректный (хотя и очень умевший различать людей по их духовному достоинству)... К этому нужно добавить, что при всей ценности его литературного наследия (существующего, однако, для немногих) он был ещё интереснее и ценнее как человек – Человек с большой буквы, человек большого стиля. Его внутренняя жизнь достойна самого внимательного и подробного изучения: я не знаю более соблазнительной темы для „романа-биографии“». То писал Голлербах-прозаик. А это Голлербах-поэт:

Силена стан, апостола осанка,  
Платона ум. – О как ему ясна  
Тревожной жизни грешная изнанка  
И душ людских немая глубина!..

Тогда, в 1925-м, Волошина посетил Михаил Булгаков. Одна из «обормоток» сообщает в своём письме от 18 июня адресату: «Третьего дня один писатель читал свою прекрасную вещь про собаку». Да, Булгаков тогда был «одним писателем», а «Собачье сердце» еще не было признано мировым шедевром. Имя его ещё не встало в ряд самых значительных явлений русской литературы XX века. Всему своё время. Но – на все времена. Как хотелось бы написать о знакомстве и дружбе двух крупнейших художников слова и мысли: Булгакова и Волошина. Но не будем забывать. Дружбы не получилось. Булгаков не увлёкся Коктебелем да, наверное, не оценил и Волошина как поэта и как человека. Да, Булгаков позировал Остроумовой-Лебедевой, читал, играл, пел, режиссировал. Волошин подыгрывал (он мог изобразить и быка, жующего траву, и человеческого эмбриона, заспиртованного в банке)... Вместе с тем жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская вспоминала: «Многие говорили о том, что поэт Максимилиан Волошин совершенно безвозмездно предоставил всё своё владение в Коктебеле в пользование писателей... В поэзии это звучало так:

Дверь отперта. Переступи порог.

## Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.

(М. Волошин. Дом Поэта. 1926)».

В прозе же выглядело более буднично и деловито: «Прислуги нет. Воду носить самим. Совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придётся „ко двору“, становится полноправным членом. Для этого же требуется: радостноеприятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни»... Молодая дама, имеющая склонность к поэзии, рассчитывала увидеть в хозяине Коктебеля нечто вроде юноши Ленского – «всегда восторженная речь и кудри чёрные до плеч». А перед ней предстал «могучий человек с брюшком, в длинной подпоясанной рубаше, в штанах до колен, широкий в плечах, с широким лицом, с мускулистыми ногами, обутыми в сандалии. Да и бородатое лицо было широколобое, широконосое. Грива русых, с проседью волос, перевязана по лбу ремешком – и похож на доброго льва с небольшими умными глазами. Казалось, должен говорить мощным зычным басом, но говорил он негромко и чрезвычайно интеллигентным голосом... В тени его монументальной фигуры поодаль стояла небольшая женщина в тюбетейке на стриженных волосах... Всем своим видом напоминала она курсистку начала века с Бестужевских курсов...». Читали стихи, гуляли, поднимались на Карадаг. Булгаков, увы, не был любителем активного отдыха: «Мы всё больше ходили по берегу, изредка, по мере надобности, купаясь. Но самое развлекательное занятие была ловля бабочек. Мария Степановна снабдила нас сачками»... Поднимались на Карадаг. «Впереди необыкновенно легко шёл Максимилиан Александрович. Мы все пыхтели и обливались потом, а Макс шагал как ни в чём не бывало, и жара была ему нипочём. Когда я выразила удивление, он объяснил мне, что в юности ходил с караваном по Средней Азии.

Карадаг – потухший вулкан.

Из недр изверженным порывом,  
Трагическим и горделивым,  
Взметнулись вихри древних сил...

Такие строки у Волошина.

Зрелище величественное, волнующее. Застывшая лава в кратере – да ведь это же химеры парижской Нотр-Дам. Как сладко потянуло в эту живописную бездну!

– Вот это и есть головокружение, – объяснил мне Михаил Афанасьевич, отодвигая меня от края».

Как-то раз в Коктебеле появился «сосед», проживающий в Старом Крыму, – Александр Грин. Ему очень хотелось познакомиться с Булгаковым. Это был «бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были тёмные, невесёлые... Я с любопытством разглядывала загорелого „капитана“ и думала: вот истинно нет пророка в своём отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далёких фантастических стран. Явление вообще в нашей „оседлой“ литературе заманчивое и редкое, а истинного признания и удачи ему в те годы не было». Грин с женой звали к себе в гости, на пироги, но визит в Старый Крым почему-то не состоялся.

Из женского населения волошинского дома Любови Евгеньевне больше других запомнилась Наталия Алексеевна Габричевская, жена упоминавшегося искусствоведа А. Г. Габричевского, в которой, уже в зрелом возрасте, проснулся талант художницы-примитивистки. Эффектная, раскованная в поведении, любительница пикантных куплетов. Из окна нижнего этажа, где жили Габричевские, нередко раздавались взрывы здорового мужского смеха. «К женщинам иного плана она относится с лёгким презрением, называя их, как меня, например, „дамочкой с цветочками“. Раз только и ненадолго мы с ней объединились: на татарский праздник (байрам, рамазан? – уж не помню) в Верхних или Нижних Отузах, надев на себя татарское платье, мы вместе плясали хайтарму (и плясали

плохо)...»

Л. Е. Белозерская признаётся, что «яд волошинской любви к Коктебелю» проник и в её кровь, но вот её муж «оставался непоколебимо стойким в своём нерасположении к Крыму». Да и особой любви к поэзии у Булгакова не было, хотя он «прекрасно понимал, что хорошо, а что плохо, и сам мог при случае прибегнуть к стихотворной форме...».

Да, автор «Собачьего сердца» явно предпочитал стихотворным чтениям ловлю бабочек. Взбирался с женой на ближайшие холмы и забавлялся, как ребёнок:

– Держи! Лови! Летит «сатир»!

«Я взмахиваю сачком, но не тут-то было: на сухой траве здорово скользко и к тому же покато. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает Михаил Афанасьевич в другую сторону. Мы оба хохочем. А „сатиры“ беззаботно порхают себе вокруг нас». Позже Любовь Евгеньевна узнает от сестры писателя Надежды, что Булгаков в студенческие годы очень увлекался бабочками, а коллекция его была подарена Киевскому университету.

«Жили мы все в общем мирно, – вспоминает Л. Е. Белозерская. – Если не было особенно дружеских связей, то не было и взаимного подкусывания. Чета Волошиных держалась с большим тактом: со всеми ровно и дружелюбно... Потом Булгаковы ещё пару раз наведывались в Крым, бывали в Мисхоре, Судак, Алушке, Ялте, Севастополе. Но Коктебеля избегали. Волошин же, судя по всему, высоко ценил Булгакова. На одной из его акварелей, подаренных писателю, осталась надпись: «Первому, кто запечатлел душу русской усьобицы».

Но о вкусах не спорят...

Любили Коктебель поэты, художники, планеристы, археологи. Каждый открывал там свой мир, находил что-то ценное для себя. На плато Тепсень велись раскопки. Даже в XX веке обнаруживались диковинки. При непосредственном участии Максимилиана Александровича был извлечён из земли «фрагмент пифоса»... Привет из античности... Редкостная находка официально была сдана на хранение Волошину. Писались по этому поводу стихи, разыгрывались спектакли...

Но настоящее празднество разворачивалось в день рождения поэта – 28 мая (16-го по ст. ст.). Звучали голоса Гомера и Сафо, Ронсара и Шекспира, Пушкина и Лермонтова, Бодлера и Малларме, Клоделя и Ренье, которых озвучивали Сергей Шервинский, Александр Габричевский, Георгий Шенгели, Евгений Ланн, искусствовед Алексей Сидоров, переводчик Лев Остроумов... Проходило «состязание поэтов в сонетах о любви, иллюстрированное живыми картинами». «Соломон и Суламифь», «Дон Жуан и Смерть», «Адам и Ева», «Франческа и Паоло», «Леда», «Зигфрид и Валькирия»... А «Филемона и Бавкиду» заставили изображать самих Макса и Марусю. Иногда эти художественные мероприятия затягивались на несколько дней.

За лето 1925 года в Доме Поэта перебивало 400 человек... и это «уже сверх человеческих сил»; при таком раскладе поэт был «совсем не в состоянии ни себя отдавать, ни в себя принимать». Да и здоровье хромает; Макс тревожится, что уже не выкарабкается. Пора и итоги какие-то подводить. «Отпевая» в стихах астронома В. К. Цераского, поэт, может быть, подразумевает и себя:

Он был из тех, в ком правда малых истин  
И веденье законов естества  
В сердцах не угашают созерцанья  
Творца миров во всех его делах.

Сквозь тонкую завесу числ и формул  
Он Бога выносил лицом к лицу,  
Как все первоучители науки:  
Пастер и Дарвин, Ньютон и Паскаль...

Правительство, бездарное и злое,  
Как все правительства, прогнало прочь  
Её зиждителя и воспретило  
Творцу творить, учёному учить...

Нет, писать стихи, акварели Волошину никто не возбранял; но поэт-то ясно отдавал себе отчёт: своих новых поэтических сборников он больше не увидит; возможно, с акварелями будет получше – кое-что приобрела Третьяковская галерея... Некоторые работы Волошина экспонировались в июне 1925 года на «Крымской выставке», в зале Государственной Академии художественных наук... Огромное количество акварелек (чаще всего – со стихотворными надписями) художник дарил друзьям...

Вспоминает Мария Степановна: «У Макса была поразительная способность не пренебрегать никакой, часто низкокачественной вещью, нужной в работе. Он писал акварели на самой скверной русской акварельной бумаге (изредка хорошую ватманскую бумагу и краски Волошину доставали его близкие знакомые Пазухины. – С. П.). Как часто многие художники в ужас приходили от того, как можно писать на такой бумаге. А Макс говорил: „Не надо бояться плохой бумаги, нужно изучить все её дурные качества и выявить хорошие. Мне это очень помогло и многому научило. Конечно, писать на ватмане очень приятно. Но если его нет, не надо бояться, это даже интереснее“... Часто я, не имея под рукой подходящей кухонной доски, утаскивала у него акварельную дощечку под пирог или подставочку. Как Макс обижался, упрекал: „Зачем же под пирог? Ведь я же на ней акварели писал!“ Утащишь, почти украдёшь дощечку, а Макс всегда обнаружит: приподнимает пирог, увидит и унесёт к себе. И это не было чувство собственности – „это моё“. Он так легко и радостно отдавал свои вещи, но для целей, для которых вещь предназначалась. Он тонко различал разницу в назначении предмета и органически страдал от несоответствия назначения и использования вещи».

Для стихов не требовалось какой-то особой бумаги и специальных принадлежностей. Хотя, конечно, всегда приятно, когда у тебя под локтями стол, за которым хорошо думается. Рабочий стол Волошина стоял у окна. Это была простая чертёжная доска, положенная на козлы. «Доска заказана была Максом в Москве, тщательно вымерена по его указаниям, как и из какого дерева она должна быть сделана. Козлы сделаны самим Максом в Коктебеле. Такой стол был у Макса в Париже. Ящики этого рабочего стола не похожи на шаблонные ящики всех письменных столов. Они наверху стола. „Американское бюро“ – как часто любил называть свой рабочий стол Макс».

Но, увы, никакой самый лучший стол, никакое «американское бюро» не радуют, когда лишний раз приходится убеждаться: «В государстве нет места поэту», понимать, что публикация большей части стихотворений на родине невозможна. Остается уповать лишь на то, что настоящие ценности – непреходящи и настанет их черед, что там – государства и правители...

Как Греция и Генуя прошли,  
Так минет всё – Европа и Россия.  
Гражданских смут горячая стихия  
Развеется... Расставит новый век  
В житейских заводах иные мрежи...  
Ветшают дни, проходит человек,  
Но небо и земля извечно те же.

(«Дом Поэта»)

Пришла мудрость, пришла художническая зрелость, пришло высшее понимание вещей, смысла жизни. О самых сложных вещах писалось легко и просто, словно бы создавалось завещание:

Выйди на кровлю... Склонись на четыре  
Стороны света, простёрши ладонь.  
Солнце... вода... облака... огонь...  
Всё, что есть прекрасного в мире...

Конечно, тяжело переносить в Коктебеле зиму, когда за стеной «море взвывает на дыбы и гудит ветер, и мы неделями не видим человеческого лица» (из письма Габричевским), а единственным обществом можно считать «три честных собачьих морды... и три хвоста, вертящихся турникетом...». Но зато какая здесь иногда стоит «дивная, ясная, хрустальная ночь», когда едва-едва всплескивает море и звенит тишина. К тому же приходят письма от друзей. Отрадно, что они увозят из Коктебеля большую толику радости и красоты, воспринимают Дом Поэта как «атмосферу разлитого добра», что у них здесь, после многих лет кошмара, начинают «улыбаться сердца», как пишет Б. Ярхо словами Лескова. Волошин каждому из своих корреспондентов стремится ответить и по возможности передать «акварельный привет». (К слову сказать, за лето – осень художник раздал и разослал не менее шестисот своих работ.)

1 марта 1926 года в Москве, в Государственной Академии художественных наук, состоялся литературно-художественный вечер с благотворительной целью: помощь поэту и художнику М. А. Волошину. Друзья понимали, что стихи его сейчас практически не печатаются (три стихотворения вышли в бакинском сборничке «Норд»), статьи ему не заказываются, монографию «Суриков» (в полном объёме) пристроить также не удаётся, хотя это вполне безобидный с точки зрения идеологии искусствоведческий труд. И вот литератор Софья Захаровна Федорченко проявляет организационную инициативу, устраивает вечер.

Из дневниковых записей Льва Горнунга: «Михаил Булгаков прочёл по рукописи „Похождение Чичикова“, как бы дополнение к „Мёртвым душам“. Писатель Юрий Слёзкин, который больше был известен до 1917 года, прочёл свой рассказ „Бандит“. Борис Пастернак читал два отрывка из поэмы „Девятьсот пятый год“ – „Детство“ и „Морской мятеж“. Поэт Сергей Шервинский прочёл четыре „Киммерийских сонета“, один из них о художнике Константине Фёдоровиче Богаевском. Поэт Павел Антокольский читал свои старые и новые стихи.

Пианист Самуил Фейнберг играл свои фортепианные произведения. Артист Московского Камерного театра Александр Румнев исполнил „Гавот“ Сергея Прокофьева в своей постановке. Он был в костюме шута. Писатель Вересаев читал отрывки из автобиографической повести». Да, приятно, когда тебя помнят друзья, когда оказывают реальную помощь, которая в данном случае вылилась в 470 рублей. Надо срочно ремонтировать Дом Поэта, надо как-то жить и его хозяевам...

Весна прошла под знаком капитального ремонта и «перекапывания» сада. Мария Степановна в этих житейских сферах была незаменима. Всю свою безграничную энергию она выплеснула на хозяйство, препирательство с рабочими, лазанье по деревьям «с обрезкой», хотя не так давно перенесла серьёзную операцию. Конечно, сдавали нервы, порой выходила из себя. «Маруся захлопоталась, завертелась, утомилась, – сообщает поэт Габричевским, – письма перестала писать и кусается, иногда дерётся». Да, Маруся была женщиной «из простых», могла ругнуться, могла и кулаками поразмахивать. Не случайно отдельные коктебельские постояльцы говаривали: «Не так страшен Макс, как его Маруся». Доставалось от неё и любимому мужу. В дневнике Волошина от 14 марта 1926 года запечатлён весьма выразительный монолог Марии Степановны: «Всё акварельки пишешь? Кому это нужно? Ведь это значит ничего не делать. Это г... (крепкое слово). В такое время, когда люди борются за жизнь... Целые дни убивать на это... Сидишь, водишь кисточкой... Гуляй, пиши. Распредели день. Встаёшь в таком-то часу, до такого-то пишешь. Плохо ли? Хорошо? Это неважно. Сперва будет бездарно, потом втянешься. А на акварели оставишь 2 часа в день и ни минуты больше...» Примерно тогда же она пишет: «Какое счастье, что я

около Макса! Господи, какой это большой человек! Мне иногда хочется записывать его слова, мысли. Сколько их падает и утекает напрасно. Ведь очень мало кто знает Макса-человека... Сколько в нём терпимости, мудрости, благородства и бесконечной честности и деликатности к людям. Как хорошо он думает и мыслит о человеке... Что ж, немало примеров волошинского человеколюбия, надеюсь, даёт и эта книга...

Первый гость в Доме Поэта появился уже в марте. Это был Виктор Успенский, сын гимназической подруги Маруси – Веры Успенской и небезызвестного Бориса Савинкова. А 19 апреля, холодным, пасмурным днём, в Коктебель прибывает Зинаида Ивановна Елгаштина, балерина, ученица В. Ф. Нижинского. «Блистательна, полувоздушна...» Волошин откровенно любовался её красотой и грацией. Балерина же поначалу была смущена: «Дом стоял вблизи прибрежных песков, и волны, пенясь на гребнях, достигали чуть ли не самых его стен. В саду работник-отрок, в тёплых брюках и куртке, в чёрном суконном шлеме, вскапывал клумбу. К нему я и обратилась с вопросом, которая из многочисленных дверей ведёт в помещение поэта Волошина. „Мой муж, – ответил отрок, – поэт, художник и философ“. Мария Степановна указала на одну из дверей. В комнате, куда я вошла, навстречу мне поднялся сидевший за письменным столом человек. Казалось, все разлитые вокруг силы нашли средоточие в его существовании. Одетый в костюм туриста, в своих тонах повторяющий местный пейзаж, Волошин производил впечатление странника, одиноко идущего среди окружающей его жизни. „Ждём с утра, – заговорил он оживлённо, – беспокоимся, не застряли ли вы“. Максимилиан Александрович обладал необычайной мягкостью и приветливостью в обращении, что сразу располагало к нему».

Первое удивление было тут же развеяно, и началось общение. Уже вечером Макс изучал привезённые ленинградской гостьей абстрактные аппликации из цветной бумаги – композиции, выражающие музыкальные мотивы. Вскоре женщины ушли спать, а Волошин остался поддерживать огонь в печке. Усиливался шторм, под напором ветра вздрагивали стены дома. «В открытую дверь в полумраке я видела его ходящим по комнате. Этой ночью я поняла, что всё происходящее вокруг и было его настоящей жизнью: среди стихийных сил природы жила и властвовала его мысль».

На другой день Зинаида Ивановна вступила в мир Коктебеля. Максимилиан Александрович, как всегда, выступил гидом. «То был мир его акварелей: Коктебель – страна разлитого света, призрачных, тающих очертаний. И Волошин ревниво охранял этот мир. „Смотри, – говорил он, останавливаясь в некоторых местах, – не води сюда никого“». Стареющий поэт и молодая балерина каждый день отправлялись в горы или бродили по степи. «В этих странствиях узнавала я Максимилиана Александровича тем мальчиком, что, приехав в Коктебель, дружил с чабанами, в горах жёл с ними костры. Исходил все тропы, облазил утёсы, знал, что скрывает каждая расщелина их. Из Феодосии... шёл пешком в Коктебель, в пути подолгу просиживал на холмах, поклоняясь, как чуду, взлёту зубцов Карадага. На одном из этих холмов мы были как-то вечером. „Здесь на закате похоронят меня“, – сказал Волошин. Он указал место, где должна быть вырыта ему могила».

Ещё никогда и ни с кем девушка не совершала столь длительных и душевных прогулок. Когда становилось знойно, она опускалась на колени и пила капли росы, скрытые в листьях пионов. Массивная фигура Макса мешала ему наклоняться, и Зинаида, сорвав листья, подносила к губам поэта живительные капли.

«Гуляя, Максимилиан Александрович шёл обычно молча, – вспоминает она. – Иногда он только останавливался и стоял, словно прислушиваясь, что происходило в нём самом, и соразмеряя это с окружающим. Мысль его работала с таким напряжением, что была ощутима и мною. Могучим взмахом вырывалась она на простор и, торжествующая, ликующая, неслась и рассыпалась среди неизмеримых пространств. Для меня мысль Волошина была нечто живое, осязаемое, зримое в полёте. Походка Максимилиана Александровича отличалась исключительной лёгкостью, бегом спускался он с гор. У него была маленькая стопа, маленькая и властная рука».

На прогулках Макс всегда противопоставлял свои родные места остальному миру.

«Москва – большая деревня», – говорил Волошин, утверждая, что жить он может только в Коктебеле. Это был мир чудес и воспоминаний о греческих поселениях IV века. Все мшистые яблони и груши на горах он считал остатками греческих садов. Зачем ехать в Москву и Ленинград, недоумевал поэт, когда весь цвет литературы и искусства собирается у него здесь, в Коктебеле.

Не обладая хорошим музыкальным слухом, Волошин имел абсолютное чувство ритма и к идущей рядом балерине относился очень трепетно, заинтересованно. «Максимилиан Александрович придавал большое значение искусству танца как выражению общей художественной культуры народа. В статье „Бельведерский торс“... М. А. пишет: „Римляне лишь смотрели на танцы, греки танцевали сами“. И далее он сопоставляет две культуры: римскую „солдатскую“ и культуру античного мира. Он ценил телодвижения человека как выражение его ритмического начала. Часто просил меня пройти вперёд, а затем идти ему навстречу. Стоял и смотрел. В его восприятии я не шла, а ступала по земле... Ещё ярче М. А. воспринимал движение рук. Их струящийся ритм. Одно из его любимых мест – источник на Святой горе. Вода там холодная, водоём затенён. Здесь он всегда пил, причём отходил от водоёма и стоял. Я должна была зачерпнуть воды и в чаше рук поднести ему. Говорил, что это и есть настоящее утоление жажды и из этого движения человека родилась античная чаша... М. А. не любил классический танец, формы его казались ему мёртвыми. Подлинный танец он видел в творчестве Дункан. А на моё движение, принимавшее Коктебель, смотрел он с какой-то радостью».

Редкое душевное сближение «киммерийского отшельника» и «северной нимфы» позволяло Волошину говорить с ней о самом сокровенном. Как-то речь зашла о его первой жене. «„Макс привёз к себе принцессу“, – говорили о ней болгары». Так «звучала» она и в его рассказах. На вопрос, почему они разошлись, Максимилиан Александрович ответил: «Маргарита всю жизнь мечтала иметь бога, который держал бы её за руку и говорил, что следует делать, что не следует. Я им никогда не был. Она нашла его в лице Штейнера».

Однажды поэт и балерина стояли на скале, обращённой к морю. «Небо полыхало отсветом заката. „Хочешь, я зажгу траву?“ – спросил Максимилиан Александрович. Желания наши были общими. И вот возложил он руки на травы, что стелились у его ног, и отвёл их. Огонь запылал, и дым стал восходить к небу. Волошин стоял, опершись на посох, и смотрел на свой Коктебель. Волосы и складки одеяния – он был в обычном коричневом шушуне – были размётаны осуществлённой им силой. Закат догорал. Догорал и костёр...»

Тем временем Коктебель заполняется новыми гостями. Приезжают Софья Толстая, внучка Л. Толстого и вдова С. Есенина, поэтессы Вера Звягинцева, Клара Арсенева и Елизавета Тараховская, искусствовед и философ Сергей Дурылин, писатель Сигизмунд Кржижановский, поэт Сергей Соловьёв, другие постоянные гости. Является колоритный художник Виктор Андерс, десять лет пробывший на каторге за убийство пристава. Зинаиде Елгаштиной особо запомнился К. Ф. Богаевский. «Среди „разноязычной“ толпы, населявшей этот дом (тут были поэты, литераторы, художники, артисты, учёные, люди, ищущие в жизни высших истин и просто наслаждавшиеся ею), – художник Богаевский был лишь мимолётным гостем, но не участником общей жизни. Сдержанный, молчаливый, Константин Фёдорович оставлял впечатление человека, всеми чувствами, помыслами, всем существом своим ушедшего в какой-то иной мир, мир, неотделимый от воспеваемой им земли».

Да и Волошин казался девушке одиноким, даже в окружении гостей: «Он был приветлив ко всем, радушен со всеми, его интересовала жизнь каждого. Но слово „друг“ в его устах звучало истиной лишь по отношению к Богаевскому... Его обращение к нему „Костя“ было согрето подлинным человеческим теплом, и приезда Константина Фёдоровича из Феодосии Максимилиан Александрович ожидал всегда с нетерпением. Как оживал он в эти моменты творческого общения!.. Они понимали друг друга с полуслова...»

В Доме Поэта поначалу возникали бытовые проблемы: не все новоприбывшие определились с питанием, но Волошины звали всех разделить с ними ужин, рассчитанный на двоих. Макс был глубоко убеждён, что чем больше даёшь, тем больше придёт. «Наша



собственность – это только то, что мы отдаём», – постоянно повторял жене.

И всем – хватало благодаря Максиной бесконечной приветливости и лёгкости, с которой он относился к тяготам быта... А проблема решалась сама собой: то «приходила посылка от друзей, то что-нибудь принесут крестьяне», – вспоминала Мария Степановна. Да, стареющий поэт не менялся в главном – добротолубии. Стоящие «на перепутьях» всегда могли найти у него защиту, помощь, утешение. Как и двадцать лет назад, он мог сказать о себе теми же словами:

Я жил на людных перепутьях  
В толпе базарных площадей.  
Я подходил к тому, кто плакал...

Макс и Маруся утешали и молодую харьковскую стенографистку Лидию Тимофееву, перенесшую личное горе, и Софью Толстую, недавно потерявшую мужа – Сергея Есенина, «говорили, успокаивали, пригревали...». И сам Волошин нуждался в понимании. «Мне кажется, – пишет З. И. Елгаштина, – Максимилиан Александрович испытывал большую радость, когда он встречал в другом человеке отзвук своего мировосприятия. Он не был избалован этим». Макс был в восторге, когда в это лето впервые после революции в Коктебеле появилась Елизавета Кругликова, друг его парижской юности. Вот уж с кем у него не переводились общие темы... Перешагнувшая шестидесятилетний рубеж, но веселая, и оживлённая, она, по воспоминаниям Зины Елгаштиной, сохранила «лёгкость и беспечность парижской богемы» и сразу стала душой коктебельского общества. Парижская художница, «исчадие» Монмартра и Монпарнаса, легко превратилась в местную «обормотку»: «Как-то ночью ей захотелось арбуза. И она предложила мне пойти на базарную площадь, где, закрытая брезентом, лежала куча арбузов. На куче спал татарин. Разбудили его, сказали, что мы из дома Волошина, хотим купить арбуз. Татарин и не шевельнулся. „Бери сколько хочешь, кушай сколько хочешь“. Мы вытащили из-под него по арбузу». Макс Волошин был в восторге от этой проделки, вспомнив, видимо, свои парижские похождения.

В этот же сезон в Доме Поэта исполнял свои романсы композитор Михаил Гнесин. Доктор С. Я. Лифшиц, который когда-то проводил с Максом сеансы психоанализа, выступал с лекциями о психических травмах у нормальных людей. Однажды в мастерскую завалилась непонятно откуда взявшаяся компания комсомольцев, десятка два. Без комплексов. Затребовали у Волошина стихов. Тот что-то прочёл. Похвалили (один юноша сказал: «Очень художественно»). Макс не обиделся, он даже опоздал на ужин, беседуя с молодёжью. По воспоминаниям Л. Тимофеевой, при расставании один из комсомольцев поцеловал протянутую Максом для прощания руку.

Собирались даже по случаю 700-летия со дня смерти Франциска Ассизского, о котором в ноябре 1919 года Волошин писал:

Ходит по полям босой монашек,  
Созывает птиц, рукою машет,  
И тростит ногами, точно пляшет,  
И к плечу полено прижимает,  
Палкой, как на скрипочке, играет,  
Говорит, поёт и причитает:

«Брат мой, Солнце! Старшее из тварей,  
Ты восходишь в славе и пожаре,  
Ликом схоже с обликом Христовым,  
Одеваешь землю пламенным покровом.

Брат мой Месяц и сестрички звёзды,

В небе Бог развесил вас, как грозды,  
Братец ветер, ты гоняешь тучи,  
Подметаешь небо, вольный и летучий...

.....  
Брат огонь, ты освещаешь ночи,  
Ты прекрасен, весел, яр и красен.  
Матушка земля, ты нас питаешь  
И для нас цветами расцветает...

.....  
Братья-звери, будьте крепки в вере:  
Царь Небесный твари бессловесной  
В пастухи дал голод, страх и холод,  
Научил смиренью, мукам и терпению».

И монашка звери окружали,  
Перед ним колени преклоняли,  
Ноги прободенные ему лизали.  
И синели благодные дали,  
По садам деревья расцветали,  
Вишеньем дороги устлали,  
На лугах цветы благоухали,  
Агнец с волком рядышком лежали,  
Птицы пели и ключи журчали,  
Господа хвалою прославляли.

(«Святой Франциск»)

Волошину всегда был духовно близок этот нищий святой монах, братающийся с Солнцем, Месяцем, умиряющий и восхваляющий всё живое. День его памяти не был пустой формальностью, поводом для общения. Ставший не так давно католическим священником Сергей Соловьёв отслужил литургию, а Сергей Дурьлин прочитал отрывки из «Сказаний о бедняке Христове»...

Осень проходит под знаком подготовки к персональной выставке акварелей Волошина в ГАХН, но – не привыкать – не состоялась ни эта, ни совместная с Богаевским. Опять они – вдвоём с Марусей, чтение вслух, прогулки по берегу моря, работа за мольбертом (В. А. Пазухин посылает ему английские акварельные краски). Сердце поэта жаждет гармонии, умиротворения, о чем свидетельствует стихотворение, написанное 20 ноября 1926 года:

Фиалки волн и гиацинты пены  
Цветут на взморье около камней.  
Цветами пахнет соль... Один из дней,  
Когда не жаждет сердце перемены  
И не торопит преходящий миг.  
Но пьёт так жадно златокудрый лик  
Янтарных солнц, просвеченных сквозь просинь.  
Такие дни под старость дарит осень.

Поэтическое творчество Волошина в последнее семилетие его жизни развивается не столь интенсивно, как раньше. Однако не будем забывать, что именно в это время поэт создаёт свои программные, во многом итоговые, произведения: «Таноб», «Дом Поэта», «Четверть века», «Владимирская Богоматерь»... Себя и свой дом Волошин воспринимает в контексте мировой истории, даже шире – вселенной (о мифологическом подтексте этого и

других стихотворений уже говорилось):

...Я много видел. Дивам мирозданья  
Картинами и словом отдал дань...  
Но грудь узка для этого дыханья,  
Для этих слов тесна моя гортань.  
Заклёпаны клокочущие пасти.  
В остывших недрах мрак и тишина.  
Но спазмами и судорогой страсти  
Здесь вся земля от века сведена.  
И та же страсть и тот же мрачный гений  
В борьбе племён и в смене поколений...

(«Дом Поэта»)

Однако стихи впитали в себя и горькие соки «современности»:

...И ты, и я – мы все имели честь  
«Мир посетить в минуты роковые»  
И стать грустней и зорче, чем мы есть.  
Я не изгой, а пасынок России.  
Я в эти дни её немой укор  
И сам избрал пустынный сей затвор  
Землём добровольного изгнания,  
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух  
В уединеньи выплавить свой дух  
И выстрадать великое познание...

Ну а концовка стихотворения, заключающая в себе высшую мудрость и обращённая в будущее, в вечность, является своеобразным катарсисом, почти что молитвенным очищением от смут земных, от суеты мирской:

...Благослови свой синий окоём.  
Будь прост, как ветер, неистошим, как море,  
И памятью насыщен, как земля.  
Люби далёкий парус корабля  
И песню волн, шумящих на просторе.  
Весь трепет жизни всех веков и рас  
Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

Законченное 25 декабря, стихотворение это стало завершением не только года (1926-го), но и, по большому счёту, духовных странствий поэта в исторических пространствах Киммерии. А чуть раньше, в ноябре, вышла небольшая книжка Евгения Ланна «Писательская судьба Максимилиана Волошина» (издание Всероссийского Союза поэтов, тираж –1000 экземпляров), претендующая на подведение некоторых творческих итогов своего героя. В ней слышатся вполне различимые упрёки поэту (и подспудные – времени): наделённый «талантом, вкусом и тонкостью», Волошин так и не смог до конца реализовать себя, не сумел вписаться в русскую литературу. Возможно, он отпугнул читателя своей глубиной и усложнёнными образами... Может быть, в своих статьях хотел казаться слишком оригинальным и уносился в сферы, далёкие от повседневной жизни... Но факт остаётся фактом: художник разминулся со своими «союзниками по символизму». «Одиночкой он прошёл через революцию, одиноким и, в сущности, вне литературы стоит он теперь».

Ещё за двадцать лет до появления этой книжки Иннокентий Анненский провидчески

сравнивал творческую судьбу Волошина с «одиноким свечой, которую воры забыли, спускаясь в подвал, – и которая пышет и мигает, и оплывает на каменном приступке...». В марте 1909 года он писал поэту, ещё не выпустившему ни одного поэтического сборника: «Вы будете один... Вам суждена, может быть, по крайней мере на ближайшие годы, роль мало благодарная». Впрочем, понимал это и сам адресат, определивший своё положение в «житейских заводях» и литературном море метко и категорично: «Не их, не ваш, не свой, ничей».

В начале 1927 года Волошины снова отправляются в столицы: нужно показаться врачам, повидаться с друзьями, которых становится всё больше, выступить со стихами, поприсутствовать на своей персональной выставке (если она в очередной раз не сорвется). На этот раз художнику сопутствовала удача. Ещё 9 января он отправил в Москву 173 акварели, а 26 февраля в ГАХН получил возможность увидеть их в непривычной для себя, официальной обстановке. Увидел Волошин и свой собственный портрет работы А. Габричевского, прослушал доклады о своём творчестве, сделанные С. Дурылиным и С. Сидоровым. Оба отмечали связь волошинской живописи с поэзией, говорили о том, что местный пейзаж вырастает в универсальный благодаря особому «тайновидению» художника. Так, немного не дотянув до своего 50-летнего юбилея, Волошин испытал по-настоящему «юбилейные» чувства; впервые в жизни его чествовали; впервые он слушал «научные» речи о своих работах.

С лечением вышло как и в прошлый раз, хотя были назначены серьёзные процедуры, пущены в ход различные «электрические аппараты», чудо современной техники, но эффект был скорее отрицательный. К тому же поэт торопился в Северную столицу: ещё в начале января хранитель Русского музея П. И. Нерадовский предложил устроить вернисаж художника и Волошин дал согласие.

30 марта поэт и его жена, теперь уже официальная (в Москве Волошины зарегистрировали свой брак), выезжают в Ленинград. Открытие выставки в Доме печати на Фонтанке было назначено на 14 апреля, но художник в дороге подхватил грипп, а при его ослабленном организме это серьёзно. За две недели, остающиеся до начала выставки, Волошин сумел встать на ноги, но чувствовал себя отвратительно и сидение в президиуме было не в радость. Выступали В. Белкин и В. Рождественский, но на этот раз анализ подменился эмоциями и вычурными характеристиками самого виновника торжества. В прессе появились отзывы, и просто положительные, и восторженные, но не слишком оригинальные. Отмечалось, что в пейзажах Волошина проступает «строгий, монументальный, архаический лик земли», присутствует «изумительное разнообразие оттенков», вместе с тем проскользнуло и несколько упрёков – в некотором однообразии его работ и влиянии на них Богаевского.

В этот приезд мало с кем удалось пообщаться из-за болезни. Среди тех, кто навестил поэта дома (Волошины остановились на этот раз у Лидии Аренс), был известный юрист и писатель А. Ф. Кони. Сам немало поднаторевший в искусстве беседы, он отмечал редкий дар поэта: «У Максимилиана Александровича есть удивительная способность: встретит он человека; человека нет – один пепел. Он возьмёт... подует – уголёк затеплится. А дальше подул, – какой там уголёк, целое пламя, костёр, который согревает всех окружающих!» И это, заметим, в состоянии болезни, когда глаза-то открывать не хочется...

30 апреля путешественники вернулись в Коктебель. Болезнь не отпускала Волошина, даже усугубилась осложнением на лёгкие и воспалением плечевого сустава. И всё же поездка казалась успешной. Макс наконец-то был признан официально как художник, хотя, заметим, это признание мало относилось к Волошину-поэту.

Ну а в Доме Поэта, как всегда в преддверии лета, уже толпился народ. Среди старых знакомцев были и новенькие: критик Корнелий Зелинский, поэты Илья Сельвинский и Вера Инбер.

Приближался, теперь уже настоящий, юбилей Волошина – 50-летие со дня рождения. И хотя родился поэт 28 мая (по новому стилю), отметить это знаменательное событие решили

«в Духов день, когда земля – именинница», который выпал в том году на 13 июня. Были и величальные стихи в адрес юбиляра, и шаржи, и скетчи, но всех превзошла новосёлка Коктебеля Вера Инбер, воспевшая и «расточительный закат», и тучного «вегетарьянствующего» поэта, и виды коктебельского берега,

...Когда на пляже,  
Голей гола,  
Чернее сажи  
Лежат тела.  
Лежат гирлянды животов, и ног, и спин,  
Без разделения на женщин и мужчин...

В начале сентября впервые приехал в Коктебель и поэт Всеволод Рождественский, оставивший свои воспоминания: «Залаяла собака, за ней другая, и навстречу из-за стола, на котором, видимо, только что был подан ужин, выскочило такое множество народу, что я в первую минуту совершенно растерялся. Приветствия, возгласы, радостные восклицания... Навстречу мне шёл сам хозяин...

– Ну вот, наконец! – произнёс Максимилиан Александрович очень мягким, приветливым голосом, раскрывая широкие объятия. – Телеграмму получили ещё вчера. Но я так и подумал, что вам захочется побродить по Феодосии, подышать воздухом моего города (он так и сказал – „моего города“ – неоспоримым тоном хозяина всех этих мест). Видели вы башню Климента Шестого? Если бы не эти ужасные ларьки и киоски, которые облепили её со всех сторон, она была бы прекрасна. У неё строгое и величественное лицо...

– Макс, Макс! Да подожди ты со своей историей, – выручила меня одетая почти так же, как Волошин, маленькая подвижная женщина с седоватыми, коротко подстриженными волосами, расчёсанными на мужской пробор. – Дай ты ему отдохнуть с дороги. Поужинать, наконец! Сюда, сюда! Лезьте через эту скамейку. Вот ваше место. Слева от вас московский астроном, справа художница. Она же чемпион по плаванию. Знакомить не буду. Делайте это сами. Здесь все друзья.

И действительно, не прошло и десяти минут, как я уже чувствовал себя как дома. Разговор за столом не умолкал ни на минуту, острая, непринуждённая шутка то там, то здесь поднимала взрывы самого беззаботного молодого смеха. Понемногу в лунных сумерках я начал различать знакомые – пусть только издали – лица. Группа ленинградских художников: Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, скульптор Матвеев. Московские филологи, поэт Г. Шенгели, какие-то старцы с профессорскими бородками и самый пышный цветник молодёжи всех возрастов и темпераментов, скрипачи, балерины, художники и просто энтузиасты литературы. Ужин продолжался долго и шумно. Было истреблено неисчислимое количество чёрного винограда, рассыпанного на подстилке из свежих листьев, выпито две огромные бутылки лёгкого, со сладковатой кислинкой, деревенского вина. Я, оказывается, попал на праздник, день рождения и совершеннолетия одной из „отроковиц“ – дочери известного учёного. Голова у меня гудела от усталости, от обилия впечатлений этого первого крымского дня, но я не отрываясь следил за нитью общей беседы».

Потом были танцы, гулянья под луной, посиделки «на полукруглой деревянной скамеечке лицом к морю и звёздам». Макса поместили в середину, и начались «страшные и нестрашные рассказы», шарады, загадки и наконец стихи, стихи без конца... Разошлись глубокой ночью. Рождественского положили в мастерской на диване под сенью «огромного лика царицы Таиах». Поэт долго не мог заснуть, ворочался, прислушивался к шуму прибоя, наконец забылся тревожным сном. Ему снились незнакомые города, люди с гортанной речью, морские сражения, канонада, которая всё усиливалась... Вдруг громовой удар прокатился над самой его головой. Он проснулся. Кто-то тряс его за плечо: «Скорее во двор! Дом не выдержит!» Действительно, пол уходил куда-то в сторону, чуть пружиня, выгибались стены... Наступало 12 сентября 1927 года, когда разразилось печальной памяти крымское

землетрясение. «Хлопали двери, скрипели деревянные ступени лестниц. Весь дом был в движении, суматохе. Люди выскакивали во дворик, едва закутанные в простыни и одеяла.

Когда я выбежал на свежий воздух, глазам моим предстало необычайное зрелище. Всё население волошинского жилища в самых фантастических одеяниях, наскоро наброшенных на плечи, шумно и бестолково роилось среди колючих кустов небольшого дворика. Все взгляды были обращены на только что покинутый дом. А его чуть-чуть пошатывало, стены прогибались, то тут, то там давая лёгкие трещины. С крыши, от полуразвалившейся трубы, сыпались обломки кирпича, сползала черепица. Движение шло толчками, с самыми неправильными интервалами. Земля была беспокойной, и порою казалось, что её, как огромную скатерть, кто-то тихонько поддёргивает из-под ног... Больше всего тревожило море. Что, если огромный вал обрушится на берег, заливая всё вокруг? Но залив был совершенно спокоен и привычно отражал высоко поднятую луну».

Толчки прекратились на рассвете. Но многие не решались вернуться в такой ещё недавно гостеприимный дом и расположились табором под открытым небом. Вернувшись в мастерскую, Рождественский увидел развалы книг на полу, сдвинутую мебель и заклиненные ставни. «На диване рядом с подушкой лежала привезённая когда-то хозяином со склонов Везувия вулканическая „бомба“, упавшая с полки рядом с моей головой. Мелкие осколки стекла хрустели под ногами. Но огромное гипсовое лицо царевны Таиах сияло резким, чуть приподнятым разрезом глаз всё так же таинственно и спокойно...»

Последствия землетрясения были масштабными и зловещими. Тогда под Ялтой, в Кичкинэ, оказался профессор Московской консерватории, известный пианист А. Б. Гольденвейзер, который записывал: «В Ялте никто не спит. Все под открытым небом. Навалом всякий скарб, тюфяки, подушки, кое-где спящие дети... На набережной кучи камней, обвалившаяся штукатурка... Люди бродят, как мухи, подавленные пережитым ужасом и ожиданием новых толчков... Телеграф и телефон испорчены... В Гаспре слегка обрушились зубцы на башнях. В Кореизе разрушена больница и трое убитых. Церковь совсем разваливается. Жутко было ехать вдоль скал Копенеиза. Нависли камни, всё шоссе ими завалено и ежеминутно могут обвалиться новые и задавить нас... Церковь Фороса кажется слегка покосившейся... В Севастополе значительные разрушения...»

Да, поспешил поэт с утверждением: «В остывших недрах мрак и тишина». Ворочались ещё под крымскими пластами матери-земли великаны-гекатонхейры («Было так, как будто какой-то гигант в припадке ярости схватил мой дом и трясёт его», – пояснял Волошин). Зато как легко и приятно работалось в спокойное время, ранней осенью, в камерке под чердачными балками. «Лёгкий бриз проходит по ней волнами набегающей свежести, пахнет полынью с ближайшего степного взгорья, стрижи с тонким писком перечёркивают синий квадрат окна. Вся комната наполнена ровными ритмическими вздохами моря. На подоконнике всегда либо золотая пахучая дыня, либо тарелка с чёрным виноградом. По издавна установившейся традиции эта комната предназначена поэтам, и не одно поэтическое поколение видело её оголённые стены», – вспоминал Всеволод Рождественский, который по-настоящему влюбился в Коктебель и приезжал сюда ежегодно.

Ну а Волошина тяготят мысли о срочном ремонте дома, его необходимо стянуть чем-то наподобие обруча, чтобы в будущем «гиганты» не нанесли ему больший ущерб. Вообще это землетрясение измотало поэта, необходимо было подумать об отдыхе и лечении в каком-либо санатории, пока не начался новый «наездной» сезон.

1927 год Волошин завершает программным стихотворением «Четверть века», написанным свободным стихом. Поэт начинает подводить итоги жизни, сопрягая свою биографию с жизнью века и ощущая свою сопричастность не только важнейшим событиям последних двух с половиной десятилетий, но и всей истории человечества:

...Я проходил по тропам Тамерлана,  
Отягощённый добычей веков,  
В жизнь унося миллионы сокровищ

В памяти, в сердце, в ушах и в глазах...  
Дух мой отчаливал в жёлтых закатах  
На засмолённой рыбацкой ладье –  
С Павлом – от пристаней Антиохии,  
Из Монсеррата – с Лойолою в Рим...  
Я со ступеней тысячелетий,  
С этих высот незапамятных царств,  
Видел воочью всю юность Европы,  
Всю непочатую ярь её сил...

И вновь поэт соотносит (в себе и через себя) земное с вселенским, Запад с Востоком, науку с религией:

...С чем мне сравнить ликование полёта  
Из Самарканда на запад – в Париж?  
Взгляд Галилея на кольца Сатурна...  
Знамя Писарро над сонмами вод...  
Было... всё было... так полно, так много,  
Больше, чем сердце может вместить:  
И золотые ковчеги религий  
И сумасшедшие тромбы идей...

В период, «когда расточала Европа / Золото внуков и кровь сыновей», он «ни германского дуба не предал, / Кельтской омеле не изменил»; «прозревал не разрыв, а слиянье / В этой звериной грызне государств, / Смутную волю к последнему сплаву / Отъединённых историей рас». Свою потребность быть «в годы лжи, паденья и разрух» в России и с Россией Волошин ощущает как зов судьбы, высшее предназначение поэта:

...посреди ратоборства народов  
Властно окликнут с Востока, я был  
Брошен в плавильные горны России  
И в сумасшествие Мартобря.  
Здесь, в тесноте, на дне преисподней,  
Я пережил испытанье огнём...

Он выполнил своё предназначение. Никогда ещё не выражал Волошин свой «символ веры» – Поэта и Человека – с таким пафосом:

...В шквалах убийств, в иступленьи уособиц  
Я охранял всеединство любви,  
Я заклинал твои судьбы, Россия,  
С углем на сердце, с кляпом во рту.  
Даже в подвалах двадцатого года,  
Даже среди смрада голодных жилищ  
Я бы не отдал всей жизни за веру  
Этих пронзительно зорких минут...

Юность века и молодость поэта закончились одновременно:

Из напряжённого стержня столетья  
Ныне я кинут во внешнюю хлябь,  
Где только ветер, пустыня и море

И под ногой содроганье земли...

Наступивший 1928 год начинается с поездки. Появилась возможность отдохнуть и подлечиться в Кисловодске. С бору по сосенке были собраны кое-какие деньги, и 26 января Волошины прибывают в Кисловодск. Отдохнуть здесь было можно, а вот нарзанные ванны при волошинском кровяном давлении оказались противопоказанными. Опять не слава богу! К тому же снова грипп, температура; да, организм поэта даёт систематические сбои. Но как-то всё обошлось; Макс выкарабкался и вскоре уже разгуливал по Кисловодску. Он здесь впервые, ему всё интересно; появляются новые знакомые... Среди них – митрополит Александр Введенский, один из основателей обновленческой церкви<sup>15</sup>. Судя по всему, два этих человека поняли и полюбили друг друга. В памяти митрополита запечатлелась «светлая личность» Волошина, близким сердцу оказалось его «философско-поэтическое творчество».

Слегка развеявшиеся в новой обстановке, 23 марта Волошины возвращаются в Коктебель. Наступают привычные трудовые будни. Мария Степановна занимается домом и садом; Максимилиан Александрович разбирает корреспонденцию, вникает в то, что делается в стране. А в стране тревожно; похоже, что снова «клубятся кровавые сны». Арестована группа специалистов угольной промышленности Донбасса, всюду ищут и находят «вредителей», раскрывают «заговоры». Непокойно и здесь. Руководство КрымЦИКа обвиняют в буржуазном национализме и пособничестве «кулацким элементам». Слово «контрреволюция» снова становится наиболее ходовым. Запахло расстрелами. Начиналось то, о чём предупреждал поэт в своей лекции «Россия распятая»: страна вступала в период жестокого «социал-монархизма».

Вместе с тем природа живёт по своим законам... «В весне распятый» Коктебель вступает в период «цветения и тишины». В конце мая начинается традиционный «наезд». Приезжают старые и новые знакомые. Из самых старых – закадычный друг Александр Пешковский, из новых – поэт Рюрик Ивнев, правнучка поэта, друга Пушкина, студентка Елена Дельвиг. Вообще летом 1928 года был установлен рекорд посещаемости: через Дом Поэта прошли 625 человек!

Жизнь поэта катилась своим чередом. Время от времени возникали тяжбы с сельсоветом, который не упускал возможности лишний раз прижать «мироеда», владельца «доходного дома» и обложить его данью. Психологию большевистского шантажа усвоили и простые пастухи, которые однажды через суд пытались вытребовать у Волошина 90 рублей за покусанных волками (обвинялась безобидная собака поэта) овец. Суд, естественно, был на стороне «сельского пролетариата», так что Волошиным в результате пришлось отказаться от собак... Что же, не только взлётами духа наполнено бытие поэта, но и всякими неурядицами («грязными человеческими вожделениями и делишками»), но это не главное. В феврале 1929 года Волошин пишет стихотворение, посвящённое памяти Аделаиды Герцык и точными штрихами воссоздающее её неповторимый духовный облик:

...Своих стихов порывистые строки,  
Свистящие, как шелест древних трав,  
Она шептала с вещим напряженьем,  
Как заговор от сглаза и огня.  
Слепая – здесь, физически глухая, –  
Юродивая, старица, дитя, –  
Смиренно шла сквозь все обряды жизни:  
Хозяйство, брак, детей и нищету.

---

<sup>15</sup> Обновленчество – движение в Русской православной церкви, возникшее после Октябрьской революции и ратующее за «обновление Церкви», модернизацию культовых ритуалов. Обновленцы боролись против руководства официальной Церкви, заявляя о своей поддержке советской власти; в 1943–1946 гг. самоликвидировались, влившись в состав Русской православной церкви. – Ред.



При этом события земного бытия, «житейских повечерий», «В душе её отображались снами – / Сигналами иного бытия». Стихотворение непроизвольно подтверждало глубинную связь двух поэтов, родство их судеб:

...Когда ж вся жизнь ощерилась годами  
Расстрелов, голода, усобиц и вражды,  
Она, с доверьем подавая руку,  
Пошла за ней на рынок и в тюрьму.  
И, нищенствуя долу, литургию  
На небе слышала и поняла,  
Что хлеб – воистину есть плоть Христова,  
Что кровь и скорбь – воистину вино.  
И смерть пришла, и смерти не узнала:  
Вдруг растворилась в сумраке долин,  
В молчании полынных плоскогорий,  
В седых камнях Сугдейской старины.

А буквально через неделю, 16 февраля, Волошин заканчивает поэму, точнее, «Сказание об иноке Епифании». Оно было задумано как дополнение к «Протопопу Аввакуму», который, к слову сказать, всегда незримо присутствовал рядом с поэтом. Волошин не упускал случая почитать «Аввакума» своим гостям на вышке дома или на берегу моря и некоторых этим чтением «перекормил». Г. Шенгели по окончании последнего сезона жаловался: «...слушал норд-ост и „Аввакума“ и отчаянно скучал».

В работе над «Сказанием» о соратнике Аввакума старце Епифании поэт опирается на его Житие, в котором видит оплот веры, торжество духа, готовность идти на смерть и муки во имя убеждений. Повторяются и черты поэтики: лексико-фразеологическая архаика, свободный стих, воспроизводящий живую, образную речь инока. Примерно тогда же поэт вновь обращается к поэме «Святой Серафим», намереваясь представить её в новой редакции. Все эти произведения свидетельствуют о постоянстве настроений «закатного» Волошина, его неизменной обращённости к сферам высокого Духа.

Очередное лето наступает неожиданно рано. В середине мая уже становится жарко. Естественно, гости не заставили себя ждать. Среди неопитов – поэт Марк Тарловский и будущий «классик» советской литературы, пасынок Лидии Аренс, Всеволод Вишневецкий, актёр театра Мейерхольда Алексей Темерин. На какое-то время заехал Александр Фомин, ведущий в Судаче раскопки Генуэзской крепости. Приятной неожиданностью стало появление волошинских подруг детства, сестёр Вяземских, и особенно вернувшейся из дальних странствий Татиды. Молодой журналист Иннокентий Басалаев оставил заметки о «сезоне-29». Они интересны с точки зрения того, как представители новой, «советской цивилизации» воспринимали Волошина и его мир: «Издали он похож на толстую мужиковатую бабу, хозяйски расхаживающую по своему двору. Ближе он кажется седым полным иереем, переодетым в жёлтую блузу и детские штанишки. Иногда он просто русский бородач-мужик. И однажды он был... паном. Не врубелевским – болотным, студенистым, волшебным. Нет. Обрусевшим паном эллинов». Что ж, и не такие Волошин встречал характеристики...

Автор записок представляет поэта в роли «заклинателя». У одной из актрис заболела голова. Волошин был тут как тут. Задрапированная в розовую полукупальную комбинацию дама «с хорошей театральной искренностью держала свою кинематографическую ладонь. Он в жёлтом и длинном камзоле-блузе, в открытых сандалиях, блестя пенсне, водил по её ладони своими короткими полными пальцами, казалось, знающими все тайны исцеления, и молча заговаривал. На знойном дворике было пусто. В воздухе стояла горячая тишина. Случайно проходящие мимо гости не могли сдержать улыбок. Равнодушно смотрело небо,

привыкшее ко всему». Воздержимся от комментариев, заметив только, что в Доме Поэта случались разные гости... Впрочем, есть в этих воспоминаниях и любопытные зарисовки: «По двору в кухню идёт высокий, с маленькой головой и как бы срезанным затылком Евгений Замятин. У него налаженные отношения с кухней. Он ходит туда за водой для бритья, заказать обед или поговорить с хозяйкой... Идём с Всеволодом (Рождественским. – С. П.) к Евгению Ивановичу. Замятину нравится, что дверь его флигеля можно держать день и ночь открытой. Это не Ленинград... Евгений Иванович сидит без рубашки (худой, загорелый торс, крепкие мышцы) перед складным зеркальцем и неторопливо, терпеливо, – как всегда, что бы он ни делал, – бреется безопасной бритвой.

– Как вам нравится моя комната?

– Комната нравится, – отвечает Всеволод, – но ведь мимо ходят целый день!

(Надо сказать, что тропинка к двум деревянным культурно-„нужным“ домикам, называемым всей дачей „гробами“, вела мимо замятинского флигеля.)

Замятин в ответ острит:

– Изучаю утробную жизнь наших обитателей.

...Дачу он назвал „волхоз“ – волшебное вольное волошинское хозяйство».

Журналист Басалаев не случайно выделяет в своих записях фигуру Замятина. Евгений Иванович в конце августа действительно становится объектом всеобщего внимания: стало известно о выходе за границей его романа-антиутопии «Мы», написанного ещё в 1920 году. Тогда же на писателя обрушилась пресса, вновь загуляло набившее оскомину словосочетание «контрреволюционная вылазка», однако в коктейльном «обормотнике» Замятин воспринимался как герой, бросивший вызов системе. В воспоминаниях об этом прямо не говорится, но видится между строк: «Потом компанией провожаем его до автобусной станции. В ожидании автобуса рассаживаемся на перила маленькой станционной террасы... Молодые женщины интересуются Евгением Ивановичем и настойчиво допрашивают, какая у него жена. Он улыбается, шутит. О жене не рассказал». Мы узнаём, что называется, из первых рук, как в течение месяца во всех вечерних, а также «Литературной», газетах «много писалось о Замятине как авторе романа „Мы“. Бранили и требовали оргвыводов. Каждый номер газеты на даче буквально рвался. Каждое новое сообщение о Замятине обсуждалось горячо всеми. Сам Замятин, надо отдать ему должное, держал себя спокойно.

Перед отъездом Замятин показал письмо-ответ, которое он хотел послать в редакцию „Литературной“. Письмо было небольшое и сжатое. Во всяком случае, оно претерпело, видимо, много, прежде чем было послано в газету. В „Литературной“ было напечатано письмо длинное и острое. В нём Замятин заявлял о своём выходе из Союза писателей».

К самим же хозяевам «волхоза» Басалаев относится без особого почтения, снисходительно: Мария Степановна – только «с веником в руках или с иглой и ножницами... В жаркие дни она надевает полотняные мальчишеские штанишки и сразу теряет свою последнюю женственность.

Она не пишет стихов, не рисует, не танцует. Она поёт. Однако это очень своеобразное пение, без готовых канонов, без памяти. У неё свои мотивы, свои мелодии, каждый раз новые, каждый раз вновь придумываемые. Потому ей иногда бывает трудно повторить одну и ту же песню... Несмотря на некоторое однообразие и унылую форму лейтмотива, в её пении – простом и несложном – всегда важен тон, окраска вещи; она умеет вложить в песню своё отношение к словам, дать в ней свой голос. Это очень самобытное пение. Так поёт птица, так поёт простоволосая деревенская женщина – для себя, для своего сердца, для своего ребёнка».

Сам же поэт выглядит в воспоминаниях журналиста дряхлым стариком, шастающим по дому со своими бумажками и жаждущим внимания слушателей: «Слева за выступом стены скрипнула дверь и послышались шаги.

– Вы ещё не спите? – теноровый знакомый голос.

– Пожалуйста, Макс! – привстал Всеволод. – Входи!

... Он сел на край кровати, подвинул лампу ближе... Поднял тонкий, папиросной бумаги лист на уровень лица, ближе к блестящим пенсне, и прочёл:

– Сказание об искушении инок Епифания бесами.

Здесь, на чердаке, он показался другим... перед нами сидел по-домашнему простой, оживлённый старик, с короткой полной шеей и толстой спиной, полнота которой ему явно мешала. Его спутанные – в этот час без ремешка – волосы лезли в глаза, он смахивал их со лба лёгкой рукой, снимая пенсне и становясь на секунду незнакомым. Грузное тело его, осевшее на кровати, было неуклюже и нескладно.

Свои стихи он читает немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие... Чудовищная в наше время тема должна восприниматься иронически. Но, благодаря наивности тона, искренности и духу примитива, сказание трогательно живо». Единственное, что привлекло в пожилом поэте молодого советского человека, это совершенное владение иронией: «Оттого постоянно чувствуется расстояние между ним и объектом. Все рассказы его прошиты иронической ниткой мастера, познавшего богатство и нищету материала. Рассказывает ли он о прошлом Коктебеля, об играх дачных детей, или о греческих мифах, или о своих гостях, – ирония оживляет, сравнивает, снижает, восхищает, но никогда не убивает...»

Другой молодой человек, впервые посетивший Коктебель, филолог Моисей Альтман, был настроен более серьёзно. Его как литературоведа интересовала прежде всего поэзия Волошина: «Читает он без всякой напевности, отчеканивая и выбрасывая с огромной силой каждое слово, а слова эти между собой никаким цементом связок и частиц не соединены, держась друг на друге собственной своей тяжестью. И язык его в огромном рту словно камни ворочает и выбрасывает за „ограду зубов“ (сказал бы Гомер) прямо в уши, разрывая их, и сквозь них – прямо к вам на дно, я бы сказал, даже не души (это звучало бы розово), а внутренностей, желудка, живота: так весь организм им потрясается. Его слова в его чтении действуют почти физически. И стихотворение в целом – циклопическая постройка... Основное – сила. И самое близкое определение, какое я мог дать его стихам... это то, что они львиные... Подавляла и эрудиция не учёного, а образованного человека. Что ни назовёт – и в самых различных областях, и в „моей“ даже области (античность), – а я и не слышал. Вот где бы и у кого поучиться»...

А Учитель между тем действительно на глазах стареет, сильно сдаёт. Удручающее впечатление он производит на Юлию Оболенскую, посетившую Коктебель в сентябре: «...всегдашний детский задор, но силы уже не прежние и то, что прежде было только курьёзно, сейчас трагично». Поэт ещё держится за жизнь: отбирает акварели на выставку Общества имени Костанди в Одессе, начинает переводить две новеллы Флобера для готовящегося собрания сочинений писателя... Но силы уже на исходе. 9 декабря у художника случился инсульт, вызвавший расстройство артикуляции, а также – парез руки и ноги. Но даже и в этом состоянии Макс пытается шутить. «Моё астральное тело кем-то похищено», – сообщил он Богаевскому. Однако, увы, не до шуток. «Уже Макса нет, это не прежний Макс!» – заключает его старый друг.

К счастью, через неделю здоровье Волошина частично восстановилось, он начинает подходить к рабочему столу, а в январе пытается рисовать. Поэт заканчивает переводы из Флобера, и Госиздат выплачивает ему гонорар. По весне он уже гуляет, старается регулярно уделять толику времени работе, но быстро устаёт. Радуют вести, касающиеся его акварелей. Ещё в декабре художник узнал об успехе одесской выставки и даже получил деньги от продажи двадцати работ; теперь же становится известно, что несколько его произведений отправлено в Лондон, кое-что продаётся и в своей стране. В общем-то жизнь была бы вполне сносной, если бы не постоянные удары со стороны местных властей: то Курорттрест покушается на часть его дома, то какие-то чины забирают хлебные карточки: «Будем кормить только рабочих!» Волошин понимает: эти атаки будут продолжаться. На исходе жизни ему постоянно приходится защищаться, писать в различные инстанции, объяснять, просить, изворачиваться. Он пытается найти надёжную защиту, отойти под эгиду

Пушкинского Дома или Литфонда; затевается соответствующая переписка с руководством этих организаций... Грустно, прискорбно, если не сказать, трагично: на это уходят последние запасы жизненной энергии...

А на дворе уже стояло лето. Только в природе всё было ритмично и прекрасно; только она не таила в себе подвохов (если не считать землетрясения). Впрочем, и приезды гостей были ритмичны и неизбежны, как явления природы. Среди приехавших в Коктебель – Евгения Ребикова, сблизившаяся с поэтессой Марией Петровых, в которой видит огромный талант.

Прибывали и маститые. Из соседнего Судака пожаловали отдыхающий там вальяжный советский граф Алексей Толстой, с которым Макс обсуждал его будущий роман о Петре Первом. При графе был и Вячеслав Шишков. Приезжали юные, едва оперившиеся литераторы. Поэт и переводчик Семён Липкин, которого захватил с собой к Волошину Г. Шенгели, оставил воспоминания. Подъезжая к Коктебелю, Шенгели предупредил его: «Купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины – справа, женщины – левее». Вознамерившись освежиться, Липкин двинулся к морю, как было велено, вправо. «У самого моря стояла спиной ко мне голая, крупная женщина, видимо, не очень молодая, судя по жировым отложениям. Шенгели ошибся? Я пошёл влево. Там, хохоча, плескались две девушки. Делать нечего, снова пустился вправо. Голая женщина одевалась, щурясь на солнце. Я узнал по портретам: то был Алексей Толстой. Я, не будучи знаком, поздоровался с ним по-деревенски. Он сказал: „Холод смертный. Бодрит, мерзавец“. Действительно, моё Чёрное море здесь оказалось холодным».

Липкина определили в «гумилёвскую» мансарду, и жизнь его влилась в коктебельский ритм: «Завтрак. Свежее, цвета топленого молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских и Шенгели – Алексей Толстой, профессор Десницкий из Ленинграда, литературовед, тоже литературовед, тоже ленинградец, Мануйлов, поэтесса Звягинцева, с которой на всю жизнь подружился, переводчица Рыкова, две женщины, имена которых забыл, – высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи. Во главе стола сидел Волошин, напротив – его жена Марья Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник первопечатнику Фёдорову». Разговор шёл о том о сём, обсуждались московские новости. Негодовали по поводу и вышучивали «рапповских зловещих невежд». Волошин, казалось, относился ко всему добродушнее, чем его окружение. Но вскоре стало ясно: он немного играет, успокаивая себя, умиротворяя других.

Вечером Алексей Толстой читал свой рассказ «День Петра». Слушали, пили отузское вино, восхищались рассказом. Никто не осмелился на критические замечания. Только Волошин сказал: «Алихан, ты удивительно талантлив, какой огромный писатель вышел бы из тебя, если бы ты был образован». Липкин подумал: «Если уж Алексей Толстой мало образован, то что сказать о таких, как я?»

Понемногу начинающий поэт стал осваиваться в «обормотской» жизни, понял, на чём основывалась здешняя экономика: «Против дома, к тополю, рядом с ручноймышкой, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный. В него каждый опускал деньги – кто сколько сможет. На этих деньгах держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму». Ну а Толстой, уезжая, мог оставить, с «графского» плеча, весьма солидную сумму.

Разумеется, «студент» Липкин держал экзамен по курсу «Поэзия» у «профессора» Волошина. «Профессор» слушал его стихи внимательно, но вместо оценки прочёл «соискателю» небольшую лекцию: «В молодости многие пишут стихи, иногда неплохо. Но поэтом бывает только личность. Личность создаётся Богом. Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства, а мастерство есть знание, навыки и ещё что-то, а это „что-то“ называют по-разному: природы примитивные, но чистые – волхвованием, более тонкие – тайной или музыкой. Года два тому назад (то ли лектор, то ли слушатель ошибается в сроках. – С. Я.) нас навестил Андрей Белый, изрёк: „Мной

установлен закон построения пушкинского четырёхстопного ямба, я заключил закон в математическую формулу“ – „Боренька, – отвечаю я, – вот и напиши, как Пушкин“».

Похоже, что к осени 1930 года здоровье Волошина более-менее стабилизировалось. Он вновь совершал длительные прогулки, на одну из которых взял с собой молодого поэта. Липкин запомнил: «Дорога была нелёгкая, жаркая, ветреная, ветер высушил стебли трав и колючки по бокам тропы, то падающей, то поднимающейся. Волошин, несмотря на свою тучность, ступал легко. При этом он безудержно говорил, главным образом, о греческом и итальянском прошлом этих одичавших мест». Он связывал воедино Элладу и Среднюю Азию, север Европы и наше Причерноморье, рассказывал историю возникновения караимской ереси<sup>16</sup>, говорил об этногенезе крымских татар, которых ценил за их честность и трудолюбие. «Древние виноградари и тайноводцы подземных вод» – так он их определял; запало в память мемуариста и самоопределение Волошина «христианский коммунист».

Однако для власть имущих оно слишком мудрёно – куда проще и веселее клеймо «кулак». Искоренение кулачества тогда уже вошло в разряд первостепенных задач партии и правительства. Ещё с осени 1929 года по посёлку поползли страшные слухи, вспоминает Ф. Ф. Сеницына, внучка священника, купившего ещё летом 1906 года десятину земли рядом с домом Волошина. Говорили о том, что Максимилиан Александрович попал в список «кулаков»: «Они должны были составлять не менее 5 процентов от всех хозяйств. В посёлке наёмным трудом никто не пользовался, батраков вообще не было... В список попали все трудолюбивые семьи, имевшие лошадей либо другой скот, все владельцы сеялок, веялок и прочего инвентаря. Не забыли лавочника Сапрыкина и бывшего владельца кафе „Бубны“ грека Синопли... Лишение избирательных прав попа – моего дедушки, „кулака“ Волошина и многих других никого не взволновало. Гораздо больше пугало постановление от 30 января 1930 года Политбюро ВКП(б) о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств». «Подлежу уничтожению как класс», – грустно шутил поэт. Вскоре Волошиным вручили приказ о конфискации домов с датой принудительного выселения. «Макс сказал, что записал в своём дневнике один из вариантов выхода из тупика – самоубийство... Маруся со свойственной ей решительностью назначила дату самоубийства на день их выселения из дома». Она понимала, что конфискация домов для Макса «не просто потеря жилья и крыши над головой. Его дом для него родное детище».

Но и на этот раз всё обошлось, «счастливый жребий дом мой не оставил»... Друзья поэта через Москву образумили ретивых начальников, и Волошиных снова оставили в покое. Возникла очередная пауза мнимого затишья. Однако эти тревожения не прошли даром, именно тогда состояние здоровья поэта резко ухудшилось. В январе 1931 года художник переживает настоящую депрессию. Он вновь ощущает «медленный отлив друзей», о многих из них не имеет сведений; осложнились за последнее время отношения между ним и супругами Константином Кандауровым и Юлией Оболенской. Между тем Константин Васильевич не так давно перенёс тяжёлую операцию, он сам нуждается в сочувствии. Волошин пишет ему и ожидает ответа. Лёжа «с дырой в животе, в которую можно всунуть кулак», Кандауров 2 августа 1930 года диктует Юлии письмо Волошину: «Дорогой друг, гранит нашей долголетней дружбы хотя и покрылся последние годы каким-то налётом, но твоё письмо очистило его, и он опять засверкал своей поверхностью. Дорогой мой, твоё письмо во время тяжёлых переживаний произвело на меня огромное, глубокое впечатление, до сих пор иначе и быть не могло!..

Дорогой мой Макс, большую благодарность шлю тебе за рисунок, который я собираюсь подарить моему доктору».

Зная об интересе Волошина к загадкам гиперфизического мира, Константин

---

<sup>16</sup> Караймы – еврейская община, возникшая в VIII в. в Багдаде; признавала Библию единственным авторитетным источником, отрицая традицию Талмуда. В XII в. караимская община обосновалась на территории Византийской империи, а в XIII в. часть её переселилась в Крым – центром её стал г. Чуфут-Кале в районе Бахчисарая. Ныне музей. – Ред.

Васильевич описывает свои ощущения во время операции и болезни, когда лица близких людей виделись ему «другими»: «...курьёзное ощущение раздвоения, растроения и даже многоличие какой-то своей личности. Доходило до того, что я искал свой рот, который мне казался моим, рот, который стоял поперёк лица... Я не знал и не мог понять, которая нога моя, которая неизвестно чья... Много было фантастических положений... Можно ли было предположить, что тебе, художнику, поэту, работнику искусств, придётся от такого же работника получать несколько странное, психологически ничем не связанное с искусством письмо...» Письмо это передала Максу Женя Ребикова. Возможно, оно явилось продолжением каких-то предыдущих разговоров двух художников... Кто знает, в каких незримых пространствах блуждали они...

Большую психологическую помощь поэту оказывает в это время Казик, Казимир Мечиславович Добраницкий, партийный работник, журналист. Он не только утешает поэта в письмах, но и навевается в Коктебель, чтобы урезонить местные власти, которые спят и видят, как бы лишить Волошиных хлеба и керосина. Его вмешательство на какое-то время создаёт Дому Поэта «иммунитет», как пошутил однажды художник. И вскоре уполномоченный Наркомснаба по Феодосийскому району направляет в посёлок директиву: коктебельской лавке снабжать «поэта-художника Волошина» хлебом «по нормам 3-ей категории» (300 граммов на душу в сутки). Теперь надо наконец решить вопрос о пенсии Наркомпроса, который постоянно ставится и снимается ответственными товарищами с повестки дня. Дело затягивается, а пока что, надеется Добраницкий, Союз писателей «от себя» может высылать поэту определённую сумму. Тот же Казимир Мечиславович пытается пристроить в «Новый мир» воспоминания Макса о Черубине де Габриак, продать в Москве какие-то его акварели. Парадоксально, но факт: в последний год жизни Волошину начинает казаться, что он обрёл настоящего «добротого гения» в лице этого молодого коммуниста. Скоро приходит отрезвление: Казик, стремительно идущий в гору как партийный функционер, охладевает к беспартийным Волошиным.

27 марта решается важный вопрос: Союз писателей даёт согласие на то, чтобы устроить летом у Волошиных платный дом отдыха. Макс получает перевод на 100 рублей, та же сумма приходит и в апреле, а в мае художник подписывает Союзу дарственную на «каменный флигель» Дома. К самому же Максy народ в этом году не торопится; приятной неожиданностью стал для Волошина приезд в июне Евгения Яковлевича Архиппова с женой. С Евгением Яковлевичем, педагогом и библиографом, имеющим склонность к поэзии, Максимилиан Александрович познакомился в Новороссийске, когда возвращался после своего кисловодского «лечения». Между ними сразу завязались тёплые отношения. Евгений Архиппов оставил потомкам «Коктебельский дневник», в котором описал, по сути дела, последнее лето в Доме Поэта, отмеченное присутствием его хозяина.

Разумеется, сразу же – экскурсия по дому, прогулки по окрестностям; все четверо пошли на место недавних раскопок. Известно, что с помощью Волошина подводные археологи обнаружили остатки мола древнего города, Каллиеры. Волошин-художник написал небольшую акварель предполагаемого города, растворившегося в веках. Волошин-поэт посвятил Каллиере один из самых красивых поздних сонетов:

По картам здесь и город был, и порт.  
Остатки мола видны под волнами.  
Соседний холм насыщен черепками  
Амфор и пифосов. Но город стёрт,

Как мел с доски, разливом диких орд.  
И мысль, читая смытое веками.  
Подсказывает ночь, тревогу, пламя  
И рдяный блеск в зрачках раскосых морд.

Зубец, над городищем вознесённый,  
Народ зовёт «Иссыпанной Короной»,  
Как знак того, что сроки истекли,

Что судьб твоих до дна испита мера,  
Отроковица эллинской земли  
В венецианских бусах – Каллиера.

(«Каллиера», 1926)

Возможно, в этом сонете заключён и личностный мотив. Как знать, какие чувства испытывал поэт, издавна читавший «смытое веками» в морщинах своей Киммерии, «земли глухой и древней», слагая стихи о том, «что сроки истекли, / Что судьб твоих до дна испита мера...».

Ближайший холм по береговой линии от мастерской к Карадагу – «это и есть сторожевой крепостной холм, охраняющий Каллиеру, – рассказывает Е. Я. Архиппов. – ...Остатки Каллиеры лежат на плоскогорье... А в соседней бухточке, за старым кордоном, по дороге к мысу Мальчин, находятся и остатки античного порта с фундаментами волнореза под водой. На французских картах начала XIX века порт обозначен как „Порт тавро-скифов“. Гибель Каллиеры надо отнести к тому же времени, когда погибла античная Феодосия, в IV веке опустошённая полчищами гуннов».

Ходили ещё в Каньоны и на Топрак-Кая. Далеко не молодой, переживший «удар», Волошин тем не менее вырывался от своих спутников вперед. Его шаг был «крупный, точный и уверенный». Он ловко пользовался посохом, но«...так переставляет посох рука епископа, одетого в парчовые одежды, во время его краткого пути от престола, через царские врата, на амвон для благословения молящихся. Поэтому редкие кочевники домов отдыха и санаториев, встречавшиеся нам во время прогулок, так столбенели; иные сторонились с дороги, смотря вслед и долго и трудно осмысливая воочию увиденную прошедшую перед ними мифическую великолепную фигуру». Время от времени поэт склонялся над какой-нибудь травинкой или гнёздами камней. «Тот наклон головы, та внимательность... говорили о большем, чем перебирание и рассматривание окраски... Эти кучечки камней казались подорожными чётками. Язык их ему был понятен».

Архиппову запомнились беседы о митрополите Александре Введенском и поэте Андрее Белом, чтение Волошиным «Владимирской Богоматери» и «Святого Серафима», стихотворений из цикла «Усобица» и фрагментов из книги «Путями Каина». По сравнению с мартом 1928 года, когда Волошин читал стихи в Новороссийске под завывание норд-оста, его манера исполнения, как считает его друг и почитатель, несколько изменилась. Тогда в голосе действительно «было гудение набата, на высоких нотах несущее предрекаемую беду. Это было пение набата о земной беде, о возмущении земли, пропитанной кровью. Но гудение густое, ровное... развёртываемое, как текст библейского пророческого повеления... В коктебельском чтении эти ноты были смягчены, голос не делал предрекающего упора... но сохранил, особенно в чтении „Усобицы“, шепотную предсказательную зловещесть. Соответственно голосу Максимилиан Александрович чаще выбирал мирные чтения...».

Запомнились и трогательно-юмористические моменты. Макс, как известно, сидел на строгой диете. Маруся строго следила за рационом его питания. Волошина это, естественно, раздражало. В ответ на запрещение Марии Степановны выпить третью чашку чая или взять ещё один кусок пирога Максимилиан Александрович мог разразиться абсурдно-убедительной фразой: «Ты сидишь и считаешь, сколько я выпил, а того не считаешь, сколько я за всё это время не выпил и не съел...» И вслед за ней – «слепительная ясно-взорная» улыбка во всё лицо...

Вроде как и было чему улыбаться. 20 ноября в газетах появляется сообщение ТАСС о том, что Совнарком РСФСР удовлетворил ходатайство Федерации объединений советских писателей о назначении персональной пожизненной пенсии писателям А. Белому,

М. Волошину, Г. Чулкову. Правда, свою первую пенсию художник получит лишь в конце января 1932 года. Жить ему останется полгода...

В декабре 1931-го поэту становится хуже. Осмотревший его в Феодосии врач диагностирует: «Миокардит с ослаблением мускула сердца». Сам Волошин чувствует себя очень постаревшим: он ощущает упадок сил, физических и творческих; двигаясь, задыхается, а ведь как ещё хочется наклониться к цветку или поднять камень... К тому же ведутся работы в горах: разрушается «пейзаж моей души», грустно замечает художник. Да, невесело... Союз писателей своими силами не может осуществить ремонт и содержание дома отдыха, поэтому намеревается сдать его в аренду родственной организации... Партиздату. А что, пытаются объяснить Волошину, – та же «пишущая братия». Сейчас все организации – на одно лицо, смотрящее в светлое будущее... коммунизма. Он ещё пытается работать – записывает свои воспоминания, но идут они мучительно трудно. Не хватает какого-то творческого импульса, общения...

Из письма М. С. Волошиной к М. А. Пазухиной от 28 марта 1932 года: «Масе советует врач Эссенуки. Он очень худо себя чувствует. И меня это убивает. Кротость у него непередаваемая. Я знаю, что он очень огорчён и томится – и своим состоянием, и тем, что ему не работается, но он так приветлив и ласков – ни жалоб, ни нытья, а светлый, светлый и всячески старается своего состояния не обнаруживать».

Но смерть медленно и верно подбирается к поэту. Лёжа, он задыхается, и с 15 июля проводит ночи, сидя в кресле. Все его болезни, прошлые и настоящие, ополчаются против него: сердечная недостаточность, артрит, астма, воспаление лёгких, нарушение речи... Постепенно отказывают почки... Навестивший Волошина в Коктебеле в конце июля писатель В. Владимиров (Долгорукий) оставляет страшную запись: «Он сидел в кресле на балкончике второго этажа... Часов с 11 утра на балкончике уже не было солнца, но всё же больному было жарко и душно, ему трудно было говорить. Жажда постоянно мучила его, а много пить было запрещено. Он поводил языком по засохшим губам. Глаза потухли...» Волошину впрыскивали камфару, давали кислород, но процесс был необратим. 10 августа началась агония. Вечером в клубном саду играл духовой оркестр... 11 августа в 11 часов поэта Максимилиана Волошина здесь, на земле, не стало.

Было известно, что художник завещал похоронить себя на коктебельской горе Кучук-Енишар. 12 августа, во второй половине дня, когда жара спала, скорбная процессия начала своё восхождение. Тяжёлый гроб был положен на линейку, которую тянули две лошади. Подъём был долгим и трудным. Люди помогали лошадям, лошади – людям. На вершине хребта, там, где небо опускается в «родную бездну», тело поэта-сына было предано матери-земле...

...И на крутом холме, где мак роняет пламя,  
Где свищут ласточки и рушится прибор,  
Мудрец, поэт, дитя, закрыв лицо кудрями,  
Свой посох положил для вечности земной... –

написал Всеволод Рождественский, отдавая свою дань любви художнику.

«Одиннадцатого августа – в Коктебеле – в двенадцать часов пополудни – скончался поэт Максимилиан Волошин, – читаем мы в воспоминаниях М. Цветаевой „Живое о живом“. – ...Поэту всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня... Итак, в свой час... суток, природы и Коктебеля... в свой час сущности. Ибо сущность Волошина – полдневная, а полдень из всех часов суток – самый телесный, вещественный... Таково и творчество Волошина... – плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той... сожжённой, сухой, как кремь, землёй, по которой он так много ходил и под которой теперь лежит».

С горы Кучук-Енишар открывается удивительный вид на залив и скалистый край



гряды, очертания которого поражают своим сходством с профилем поэта. Что это – мистический знак того, что отныне этот край навечно принадлежит поэту? А может быть, это его сбывшиеся стихи?

Земли отверженной застывшие усилья.  
Уста Праматери, которым слова нет!

И гигантский профиль Волошина, устремившего взор туда, где смыкаются небо и море, и его могила на противоположной стороне залива хорошо просматриваются с вышки Дома Поэта. На месте упокоения Волошина виднеется дерево, маслина, ствол и ветви которого напоминают крест. Дерево это никто не сажал...

## **ВЕСЬ ТРЕПЕТ ЖИЗНИ ВСЕХ ВЕКОВ И РАС...**

Жизнь – бесконечное познание...  
Возьми свой посох и иди!  
...И я иду... и впереди  
Пустыня... ночь... и звёзд мерцание.

**Жизнь – бесконечное познание...**

...Не я ли  
В долгих планетных кругах  
Создал тебя?  
Ты летопись мира,  
Таинственный свиток,  
Иероглиф мироздания,  
Преображение погибших вселенных...

**Я люблю тебя, тело моё...**

«Человек – это книга, в которую записана история мира», – вспомним ещё раз эту запись из дневника Максимилиана Волошина за 1907 год. «Весь трепет жизни всех веков и рас / Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас», – вторит он себе двадцать лет спустя в итоговом стихотворении «Дом Поэта». Не станем забывать, что читает эту книгу поэт, чей «дух древнее, чем земля и звёзды», потому и проникает его мысль сквозь толщу времён, познавая «иных миров в себе напомниманья».

«Великий пафос лирики завещан» нам Волошиным, и завещание это безгранично. Лирическое «я» поэта включает в себя образы-символы из самых разных сфер – литературы, искусства, мифологии, религии. Это и Вечный Жид, и Иисус Христос, и штейнеровский «Солнечный дух», и космический первочеловек Адам Кадмон, и Кентавр, и Эдип, и Зевс, и Орфей, и множество персонажей-демонов, вроде Дмитрия-императора, Стеньки Разина или протопопа Аввакума.

«Орфеем, способным одушевить и камни», назвал хозяина Коктебеля Андрей Белый. С мифом об Орфее – об обречённости любви – соотносил Волошин трагическую участь поэта. Не забывал он и о великом посвящённом Древней Греции, придавшем могущество солнечному культу Аполлона Орфее (Орфей – «исцеляющий светом»), первосвященнике и царе, с именем которого связана целая система религиозно-философских взглядов (орфизм).

Эта светлая аллея